Беспалова Т.В.

**Произведения родной русской литературы для 6 класса**

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ» |  |
| Илья Муромец и Святогор *(Былина)* | 2 |
| Иван Бунин. Святогор и Илья | 6 |
| Михаил Пришвин. Певец былин | 6 |
|  |  |
| ГОРОДА ЗЕМЛИ РУССКОЙ |  |
| Степан Писахов. Ледяна колокольня. Морожены песни | 8 |
| Борис  Шергин. Поморские были и сказания | 10 |
|  |  |
| РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ |  |
| Иван Никитин. Встреча зимы | 15 |
| Александр Блок. Снег да снег | 17 |
| Николай Рубцов. Первый снег | 17 |
| Евгений Шварц. Два брата | 18 |
|  |  |
| РУССКИЕ ТРАДИЦИИ |  |
| Михаил Лермонтов «Посреди небесных тел…» | 26 |
| Андрей Дементьев. Прощеное воскресение | 26 |
| Антон Чехов. Блины | 26 |
| Надежда Тэффи. Блины | 28 |
|  |  |
| ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА |  |
| Всеволод Рождественский. Русская природа | 31 |
| Константин Паустовский. Заботливый цветок | 31 |
| Юрий Бондарев. Поздним вечером | 33 |
|  |  |
| РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША |  |
| Алексей Апухтин. Солдатская песня о Севастополе | 37 |
| Афанасий Фет. Севастопольское братское кладбище | 38 |
| Рюрик Ивнев. Севастополь | 38 |
|  |  |
| ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ |  |
| Федор Тютчев «Чему бы жизнь нас не учила…» | 39 |
| Николай Лесков. Неразменный рубль | 39 |
| Виктор Астафьев. Бабушка с малиной | 44 |
|  |  |
| О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ |  |
| **Радий Погодин. Кирпичные острова.** Рассказы про Кешку и его друзей | 46 |
| **Евгений Велтистов.** Миллион и один день каникул | 49 |
|  |  |
| ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА |  |
| Константин Бальмонт. Русский язык | 54 |
| Юнна Мориц «Язык обид – язык не русский…» | 55 |

**Илья Муромец и Святогор** *(Былина)*

Как не далече‑далече во чистом во поле,  
Тута куревка да поднималася,  
А там пыль столбом да поднималася, ‑  
Оказался во поли добрый молодец,  
Русский могучий Святогор‑богатырь.  
У Святогора конь да будто лютый зверь,  
А богатырь сидел да во косу сажень,  
Он едет в поле, спотешается,  
Он бросает палицу булатную  
Выше лесушку стоячего,  
Ниже облаку да ходячего,  
Улетает эта палица  
Высоко да по поднебесью;  
Когда палица да вниз спускается,  
Он подхватывает да одной рукой.  
Наезжает Святогор‑богатырь  
Во чистом поли он на сумочку да скоморошную.  
Он с добра коня да не спускается,  
Хотел поднять погонялкой эту сумочку, ‑  
Эта сумочка да не ворохнется;  
Опустился Святогор да со добра коня,  
Он берет сумочку да одной рукой, ‑  
Эта сумочка да не сшевелится;  
Как берет он обема рукам,  
Принатужился он силой богатырской,  
По колен ушел да в мать сыру землю, ‑  
Эта сумочка да не сшевелится,  
Не сшевелится да не поднимется.  
Говорит Святогор да он про себя:  
«А много я по свету езживал,  
А такого чуда я не видывал,  
Что маленькая сумочка да не сшевелится,  
Не сшевелится да не сдымается,  
Богатырской силы не сдавается».  
Говорит Святогор да таковы слова:  
«Верно, тут мне, Святогору, да и смерть пришла».  
И взмолился он да своему коню:  
«Уж ты, верный богатырский конь,  
Выручай теперь хозяина».  
Как схватился он да за уздечику серебряну,  
Он за ту подпругу золоченую,  
За то стремечко да за серебряно,  
Богатырский конь да принатужился,  
А повыдернул он Святогора из сырой земли.  
Тут садился Святогор да на добра коня,  
И поехал по чисту полю  
Он ко тем горам да Араратскиим.  
Утомился Святогор, да он умаялся  
С этой сумочкой да скоморошноей,  
И уснул он на добром коне,  
Заснул он крепким богатырским сном.  
Из‑под далеча‑далеча из чиста поля  
Выезжал старой казак да Илья Муромец,  
Илья Муромец да сын Иванович,  
Увидал Святогора он богатыря:  
«Что за чудо вижу во чистом поли,  
Что богатырь едет на добром кони,  
Под богатырем‑то конь да будто лютый зверь,  
А богатырь спит крепко‑накрепко».  
Как скричал Илья да зычным голосом:  
«Ох ты гой еси, удалой добрый молодец!  
Ты что, молодец, да издеваешься,  
А ты спишь ли, богатырь, аль притворяешься,  
Не ко мне ли, старому, да подбираешься?  
А на это я могу ответ держать».  
От богатыря да тут ответу нет.  
А вскричал Илья да пуще прежнего,  
Пуще прежнего да зычным голосом,  
От богатыря да тут ответа нет.  
Разгорелось сердце богатырское  
А у старого казака Ильи Муромца,  
Как берет он палицу булатную,  
Ударяет он богатыря да по белым грудям,  
А богатырь спит, не просыпается.  
Рассердился тут да Илья Муромец,  
Разъезжается он во чисто поле,  
А с разъезду ударяет он богатыря  
Пуще прежнего он палицей булатною,  
Богатырь спит, не просыпается.  
Рассердился тут старый казак да Илья Муромец,  
А берет он шалапугу подорожную,  
А не малу шалапугу – да во сорок пуд,  
Разъезжается он со чиста поля,  
И ударил он богатыря по белым грудям,  
И отшиб он себе да руку правую.  
Тут богатырь на кони да просыпается,  
Говорит богатырь таково слово:  
«Ох, как больно русски мухи кусаются!»  
Поглядел богатырь в руку правую,  
Увидал тут Илью Муромца,  
Он берет Илью да за желты кудри,  
Положил Илью да он к себе в карман,  
Илью с лошадью да богатырскоей,  
И поехал он да по святым горам,  
По святым горам да Араратскиим.  
Как день он едет до вечера,  
Темну ноченьку да он до утра,  
И второй он день едет до вечера,  
Темну ноченьку он до утра,  
Как на третий‑то да на денечек  
Богатырский конь стал спотыкатися.  
Говорит Святогор да коню доброму:  
«Ах ты, волчья сыть да травяной мешок,  
Уж ты что, собака, спотыкаешься?  
Ты идти не мошь аль везти не хошь?»  
Говорит тут верный богатырский конь  
Человеческим да он голосом:  
«Как прости‑тко ты меня, хозяйнушко,  
А позволь‑ка мне да слово вымолвить.  
Третьи суточки да ног не складучи  
Я вожу двух русскиих могучиих богатырей,  
Да й в третьих с конем богатырскиим».  
Тут Святогор‑богатырь да опомнился,  
Что у него в кармане тяжелешенько;  
Он берет Илью за желты кудри,  
Он кладет Илью да на сыру землю  
Как с конем его да богатырскиим.  
Начал спрашивать да он, выведывать:  
«Ты скажи, удалый добрый молодец,  
Ты коей земли да ты какой орды?  
Если ты богатырь святорусский,  
Дак поедем мы да во чисто поле,  
Попробуем мы силу богатырскую».  
Говорит Илья да таковы слова:  
«Ай же ты, удалой добрый молодец!  
Я вижу силушку твою великую,  
Не хочу я с тобой сражатися,  
Я желаю с тобой побрататися».  
Святогор‑богатырь соглашается,  
Со добра коня да опущается,  
И раскинули они тут бел шатер,  
А коней спустили во луга зеленые,  
Во зеленые луга они стреножили.  
Сошли они оба во белой шатер,  
Они друг другу порассказалися,  
Золотыми крестами поменялися,  
Они с друг другом да побраталися,  
Обнялись они, поцеловалися,  
– Святогор‑богатырь да будет больший брат,  
Илья Муромец да будет меньший брат.  
Хлеба‑соли тут они откушали,  
Белой лебеди порушали  
И легли в шатер да опочив держать.  
И недолго, немало спали – трое суточек,  
На четверты они да просыпалися,  
В путь‑дороженьку да отправлялися.  
Как седлали они да коней добрыих,  
И поехали они да не в чисто поле,  
А поехали они да по святым горам,  
По святым горам да Араратскиим.  
Прискакали на гору Елеонскую,  
Как увидели они да чудо чудное,  
Чудо чудное да диво дивное:  
На горы на Елеонския  
Как стоит тута да дубовый гроб.  
Как богатыри с коней спустилися,  
Они ко гробу к этому да наклонилися,  
Говорит Святогор да таковы слова  
«А кому в этом гробе лежать сужено?  
Ты послушай‑ка, мой меньший брат,  
Ты ложись‑ка во гроб да померяйся,  
Тебе ладен ли да тот дубовый гроб».  
Илья Муромец да тут послушался  
Своего ли братца большего,  
Он ложился, Илья, да в тот дубовый гроб.  
Этот гроб Ильи да не поладился,  
Он в длину длинен и в ширину широк.  
И ставал Илья да с того гроба,  
А ложился в гроб да Свягогор‑богатырь.  
Святогору гроб да поладился,  
В длину по меры и в ширину как раз.  
Говорит Святогор да Ильи Муромцу:  
«Ай же ты, Илья да мой меньший брат,  
Ты покрой‑ка крышечку дубовую,  
Полежу в гробу я, полюбуюся».  
Как закрыл Илья крышечку дубовую,  
Говорит Святогор таковы слова:  
«Ай же ты, Илюшенька да Муромец!  
Мне в гробу лежать да тяжелешенько,  
Мне дышать‑то нечем, да тошнешенько,  
Ты открой‑ка крышечку дубовую,  
Ты подай‑ка мне да свежа воздуху».  
Как крышечка не поднимается,  
Даже щелочка не открывается.  
Говорит Святогор да таковы слова:  
«Ты разбей‑ка крышечку саблей вострою».  
Илья Свягогора послушался,  
Берет он саблю вострую,  
Ударяет по гробу дубовому.  
А куда ударит Илья Муромец,  
Тут становятся обручи железные.  
Начал бить Илья да вдоль и поперек,  
– Все железные обручи становятся.  
Говорит Святогор да таковы слова:  
«Ах ты, меньший брат да Илья Муромец!  
Видно, тут мне, богатырю, кончинушка.  
Ты схорони меня да во сыру землю,  
Ты бери‑тко моего коня да богатырского,  
Наклонись‑ка ты ко гробу ко дубовому,  
Я здохну тебе да в личко белое,  
У тя силушки да поприбавится».  
Говорит Илья да таковы слова:  
«У меня головушка есть с проседью,  
Мне твоей‑то силушки не надобно,  
А мне своей‑то силушки достаточно.  
Если силушки у меня да прибавится,  
Меня не будет носить да мать сыра земля.  
И не надо мне твоего коня да богатырского,  
А мне‑ка служит верой‑правдою  
Мне старой Бурушка косматенький».  
Тута братьица да распростилися,  
Святогор остался лежать да во сырой земли,  
А Илья Муромец поехал по святой Руси  
Ко тому ко городу ко Киеву  
А ко ласковому князю ко Владимиру.  
Рассказал он чудо чудное,  
Как схоронил он Святогора да богатыря  
На той горы на Елеонскии.  
Да тут Святогору и славу поют,  
А Ильи Муромцу да хвалу дают.  
А на том былинка и закончилась.

**Иван Бунин. Святогор и Илья**

На гривастых конях на косматых,  
На златых стременах на разлатых,  
Едут братья, меньшой и старшой,  
Едут сутки, и двое, и трое,  
Видят в поле корыто простое,  
Наезжают — ан гроб, да большой:  
Гроб глубокий, из дуба долбленный,  
С черной крышей, тяжелой, томленой,  
Вот и поднял ее Святогор,  
Лег, накрылся и шутит: «А впору!  
Помоги-ка, Илья, Святогору  
Снова выйти на божий простор!»  
Обнял крышу Илья, усмехнулся,  
Во всю грузную печень надулся,  
Двинул кверху... Да нет, погоди!  
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба.  
Он за меч, — занимается злоба,  
Загорается сердце в груди, —  
Но и меч не берет: с виду рубит,  
Да не делает дела, а губит:  
Где ударит — там обруч готов,  
Нарастает железная скрепа:  
Не подняться из гробного склепа  
Святогору во веки веков!  
Кинул биться Илья — божья воля.  
Едет прочь вдоль широкого поля,  
Утирает слезу... Отняла  
Русской силы Земля половину:  
Выезжай на иную путину,  
На иные дела!

**Михаил Пришвин. Певец былин** *(В сокращении)*

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был…

Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богатыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них старины, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и сказители былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья — вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов.

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши.

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богатыри.

— Какие же это богатыри? — спрашиваю я.

— А вот послушай, я тебе про них старинку спою, — отвечал старик.

Во стольном городе во Киеве,

У ласкова князя у Владимира…

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель- старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно…

И умный хвастает золотой казной,

А безумный хвастает молодой женой.

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

— Слышишь ты, безумный-то хвастается молодой женой.

И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,

И белой лебеди он да и не рушает…

Старик долго пел и все-таки не окончил былины.

— А что же сталось с Ильей Муромцем? — спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

— Илья Муромец окаменел — за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

— А Добрыня Никитич?

— Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

— Какой скобой? — спросил я.

— Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

— Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

— Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

— Да знаешь что, — они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что пел.

**Степан Писахов. Ледяна колокольня** *(От автора)*

Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.

Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.

   В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит:

– Други-товарищи, спите ли?

Кто-нибудь сонным голосом отзовется:

   – Нет, еще не спим, сказывай.

   Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса не подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки. Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:

   – Какой ты горячий, тебя тронуть – руки обожжешь.

   Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:

– Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!

   При встрече старуха спросила:

   – Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?

   Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост: «   Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут».

   Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске. Секрет не велик. Я сказал:

– С 1879 года.

   – Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?

   Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:

   – Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: «Архангельск». Народ ютился кругом столба.

   Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз – дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал…

   Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в "дикий север". Ему хотелось полярных впечатлений.

   Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.

   В 1924 году в сборнике "На Северной Двине" напечатана моя первая сказка "Не любо – не слушай. Морожены песни".

   С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом "на корабле через Карпаты ездил" и "как собака Розка волков ловила". Умер Малина, кажется, в том же 1928 году. Чтя память безвестных северных сказителей – моих сородичей и земляков, – я свои сказки веду от имени Сени Малины.

**Морожены песни**

В прежне время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

/Мы до той поры и, в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

/Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово как вылетит — и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет Мы’ по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несем, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова веселыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.

А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают. А деъкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!» Нарядно нашей деревни нигде не было. Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!

С этого и повелась торговля песнями. Как-то шел заморской купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел: — Что за штуки колки каки, чем они швыряют? — Так, пустяки.

Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да за-поскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье.

Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Песню уложат да обозначат, которо — перед, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнехонек.

Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: — Еще, еще! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймать, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды. Девки поют, бабы поют, старухи поют. Песня делам не мешат, рядом с делом идет, доход дает.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе и мы их разуважим, свое «почтение» скажем. Ну, и запели! Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особи ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.

Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят: — Что таки тяжелы сейгод песни? Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то, по-вашему, значит — всего хорошего желам. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом .в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить. Песни порастаяли и начали звенеть. На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!

**Борис  Шергин. Поморские были и сказания**

Детство в Архангельске (*В сокращении)*

В Архангельском городе был у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

… Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — всё поет.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет. Он поживет с нами немножко и в море сторонится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Машины я любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к северу; на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там!..

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная.

Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк…

Азбуку мне отец подарил к Новому, 1902 году, поэтому вначале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!

Живи счастливо да учись.

Ученый водит,

Неученый следом ходит.

Рано, весело вставай —

Заря счастье кует.

Ходи право,

Гляди браво.

Кто помоложе,

С того ответ подороже.

Будь, сын, отца храбрее,

Матери добрее.

Живи с людьми дружно,

Дружно, не грузно,

А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься — ума прибудет.

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика: из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня; это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил.

Пала пальцем погрозил:

— Вот те лодка с веслами.

Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской.

Сяду под кусточек.

Пароход идет с треской.

Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

Рождение корабля

Именитые скандинавские судостроители прошлого века Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров и сказали:

— Равных негде взять и не сыскать, и по всей России нет.

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Миша Ласкин

Это было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого, дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

Тебя как зовут?

Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час. Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ёрш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Мой отец был корабельный мастер. Однажды он строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздохнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Варпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием «морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Варпаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придете в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель — ты строитель. Пойдем с нами.

В морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-перегорькое, А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, холод, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

**Иван Никитин. Встреча зимы**

Поутру вчера дождь  
В стёкла окон стучал,  
Над землёю туман  
Облаками вставал.

Веял холод в лицо  
От угрюмых небес,  
И, Бог знает о чём,  
Плакал сумрачный лес.

В полдень дождь перестал,  
И, что белый пушок,  
На осеннюю грязь  
Начал падать снежок.

Ночь прошла. Рассвело.  
Нет нигде облачка.  
Воздух лёгок и чист,  
И замёрзла река.

На дворах и домах  
Снег лежит полотном  
И от солнца блестит  
Разноцветным огнём.

На безлюдный простор  
Побелевших полей  
Смотрит весело лес  
Из-под чёрных кудрей,

Словно рад он чему, —  
И на ветках берёз,  
Как алмазы, горят  
Капли сдержанных слёз.

Здравствуй, гостья-зима!  
Просим милости к нам  
Песни севера петь  
По лесам и степям.

Есть раздолье у нас, —  
Где угодно гуляй;  
Строй мосты по рекам  
И ковры расстилай.

Нам не стать привыкать, —  
Пусть мороз твой трещит:  
Наша русская кровь  
На морозе горит!  
Искони уж таков  
Православный народ:  
Летом, смотришь, жара —  
В полушубке идёт;

Жгучий холод пахнул —  
Всё равно для него:  
По колени в снегу,  
Говорит: «Ничего!»

В чистом поле метель  
И крутит, и мутит, —  
Наш степной мужичок  
Едет в санках, кряхтит:

«Ну, соколики, ну!  
Выносите, дружки!»  
Сам сидит и поёт:  
«Не белы-то снежки!..»

Да и нам ли подчас  
Смерть не встретить шутя,  
Если к бурям у нас  
Привыкает дитя?

Когда мать в колыбель  
На ночь сына кладёт,  
Под окном для него  
Песни вьюга поёт.

И разгул непогод  
С ранних лет ему люб,  
И растёт богатырь,  
Что под бурями дуб.

Рассыпай же, зима,  
До весны золотой  
Серебро по полям  
Нашей Руси святой!

И случится ли, к нам  
Гость незваный придёт  
И за наше добро  
С нами спор заведёт —

Уж прими ты его  
На сторонке чужой,  
Хмельный пир приготовь,  
Гостю песню пропой;

Для постели ему  
Белый пух припаси  
И метелью засыпь  
Его след на Руси!

**Александр Блок. Снег да снег**

Снег да снег. Всю избу занесло.  
Снег белеет кругом по колено.  
Так морозно, светло и бело!  
Только черные, черные стены…

И дыханье выходит из губ  
Застывающим в воздухе паром.  
Вон дымок выползает из труб;  
Вон в окошке сидят с самоваром;

Старый дедушка сел у стола,  
Наклонился и дует на блюдце;  
Вон и бабушка с печки сползла,  
И кругом ребятишки смеются.

Притаились ребята, глядят,  
Как играет с котятами кошка…  
Вдруг ребята пискливых котят  
Побросали обратно в лукошко…

Прочь от дома на снежный простор  
На салазках они покатили.  
Оглашается криками двор —  
Великана из снега слепили!

Палку в нос, провертели глаза  
И надели лохматую шапку.  
И стоит он, ребячья гроза, —  
Вот возьмет, вот ухватит в охапку!

И хохочут ребята, кричат,  
Великан у них вышел на славу!  
А старуха глядит на внучат,  
Не перечит ребячьему нраву.

**Николай Рубцов. Первый снег**

Ах, кто не любит первый снег  
В замерзших руслах тихих рек,  
В полях, в селеньях и в бору,  
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,  
И на гармонь летят снежинки.  
И весь в светящемся снегу,  
Лось замирает на бегу  
На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?  
Легко в упряжке скачут кони,  
И по дорогам меж полей,  
Как стаи белых голубей,  
Взлетает снег из-под саней…

Ах, кто не любит первый снег  
В замерзших руслах тихих рек,  
В полях, в селеньях и в бору,  
Слегка гудящем на ветру!

**Евгений Шварц. Два брата**

Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но всё-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.

Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.

И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своём участке знал он по имени.

В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него всё шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему — семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил, братья ссорились каждый день, как чужие.

И вот однажды — было это двадцать восьмого декабря утром — позвал лесничий сыновей и сказал, что ёлки к Новому году он им не устроит. За ёлочными украшениями надо ехать в город. Маму послать — её по дороге волки съедят. Самому ехать — он не умеет по магазинам ходить. А вдвоём ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.

Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома всё будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города.

— Ты даёшь мне слово? — спросил отец.

— Даю честное слово, — ответил Старший.

— Хорошо, — сказал отец. — Три дня нас не будет дома. Мы вернёмся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное — за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать.

А отец принёс дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали.

Первый день прошёл хорошо. Второй — ещё лучше.

И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-Морехода». И дошёл он до самого интересного места, когда появляется над кораблём птица Рок, огромная, как туча, и несёт она в когтях камень величиною с дом.

Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата:

— Поиграй со мной, пожалуйста.

Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: «Оставь меня в покое!»

И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего за шиворот, крикнул: «Оставь меня в покое!» — вытолкал его во двор и запер дверь.

А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже тёмная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал:

— Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!

У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал:

«Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится».

И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь.

Старший вскочил и закричал:

— Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, неодетый!

И он бросился во двор.

Стояла тёмная-тёмная ночь, и тихо-тихо было вокруг.

Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.

Тогда Старший зажёг фонарь и с фонарём обыскал все закоулки во дворе.

Брат пропал бесследно.

Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез, как будто его унесла птица Рок.

Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья.

Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.

Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики.

«Наши возвращаются,- подумал с тоскою Старший.- Ах, если бы всё передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались».

А бубенчики звенели всё ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его чёрная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая.

Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы, — они не знали, что дома случилось такое несчастье.

— Зачем ты выбежал во двор без пальто? — спросила мать.

— А где Младший? — спросил отец. Старший не ответил ни слова.

— Где твой младший брат? — спросил отец ещё раз. И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повёл в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший всё рассказал родителям.

Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел.

— Одевайся, — сказал отец тихо.- Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.

— Что же, мы теперь совсем без детей останемся? — спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил. И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.

Он шёл и звал брата, шёл и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шёл по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.

Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал всё быстрее и быстрее.

Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла всё вверх и вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, всё горы и горы, покрытые густыми лесами.

Старший остановился.

Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь?

И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко лёгкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости, — не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашёлся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой?

Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно.

— Пойду и узнаю, что там за звон,- сказал Старший.

Он шёл час, и два, и три. Звон становился всё громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев, — высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стёкла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели.

Мальчик пошёл дальше и увидел прозрачные ёлки, прозрачные берёзы, прозрачные клёны. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.

Мальчик подошёл к берёзе и отломил веточку. И, пока он её разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.

И Старший понял: лес, промёрзший насквозь, превратившийся в лёд, стоит вокруг. И растёт этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные.

— Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно? — спросил Старший.

— Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, — ответил кто-то тоненьким звонким голосом.

Мальчик оглянулся.

Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы у старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце.

А старик, помолчав, повторил отчётливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал:

— Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?

— Вы как будто Дедушка Мороз? — спросил мальчик.

— Отнюдь нет! — ответил старик холодно. — Дедушка Мороз — мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я — Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.

И старик пошёл вперёд, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.

Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щёлкнул замок, и тяжёлые ледяные ворота открылись в холме.

— Следуй за мной, — повторил старик.

— Но ведь мне нужно искать брата! — воскликнул мальчик.

— Твой брат здесь, — сказал Прадедушка Мороз спокойно. — Следуй за мной.

И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним ещё и ещё. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра «2».

— В моём дворце сорок девять таких зал. Следуй за мной, — приказал Прадедушка Мороз.

Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперёд и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца.

Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться.

Но в печке этой ледяные поленья горели чёрным пламенем. Чёрные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом. И Прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.

— Садись рядом, помёрзнем, — предложил он мальчику.

Мальчик ничего не ответил.

А старик уселся поудобнее и мёрз, мёрз, мёрз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.

Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжёг их ледяными спичками.

— Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, — сказал он мальчику. — Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял?

Мальчик кивнул головой.

И Прадедушка Мороз продолжал отчётливо и гладко:

— Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?

— Но ведь нас дома ждут! — воскликнул Старший жалобно.

— Ты. Останешься. Здесь. Навеки, — повторил Прадедушка Мороз.

Он подошёл к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.

— Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, — сказал старик.

— Они мёртвые? — спросил мальчик.

— Я успокоил их, но не совсем, — ответил Прадедушка Мороз. — Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом.

— Я убегу! — крикнул мальчик.

— Ты никуда не убежишь! — ответил Прадедушка Мороз твердо. — Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.

И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица ещё дышит. Но старик не мигая смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени.

И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег. Потом вся она стала твёрдой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал:

— Готово! Принимайся за следующую.

До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле.

Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика:

— Руки у тебя не замёрзли?

— Нет, — ответил он.

— Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда,- сказал старик.- Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.

И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушёл в глубину дворца, и мальчик остался один.

Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам.

И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.

— Пришло время удалиться ко сну, — сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала.

Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз.

Утром старик разбудил его.

— Отправляйся в кладовую, — сказал он. — Двери в неё находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.

И мальчик пошёл в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принёс на ледяном блюде завтрак номер один.

И котлеты, и чай, и хлеб — всё было ледяное, и всё это надо было грызть или сосать, как леденцы.

— Я удаляюсь на промысел, — сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак. — Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца.

И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался, наконец, до сорок девятого зала и остановился как вкопанный.

Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра «49». Последний зал был заперт наглухо.

— Младший! — крикнул старший брат. — Я пришёл за тобой. Ты здесь?

«Ты здесь?» — повторило эхо.

Дверь была вырезана из цельного промёрзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.

И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошёл Прадедушка Мороз.

И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнём несчастных замёрзших птиц, белок и зайцев.

Так и пошли дни за днями.

\*\*\*

И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашёл его наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня.

И Старший думал, думал, и наяву и во сне, всё об одном, всё об одном.

И старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лёд птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил:

— Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. «Оставь меня в покое!» — какие великие слова. С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. «Оставь меня в покое!» Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле.

И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы.

Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.

— Ах, как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете! — рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько.- Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья — спокойные, солидные, гигантские мамонты! Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Там. Некуда. Было. Спешить.

И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте как бешеный.

— Что значит твоё нелепое поведение? — спросил старик сухо.

Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости.

Когда думаешь всё об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать.

Спички!

Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город.

И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и верёвку и выбежал из дворца.

Старик пошёл налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров.

У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костёр. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся.

Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть, но вот, наконец, вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костёр погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла.

— Ага! — сказал он и ударил по двери топором. Но ледяной дуб по-прежнему был твёрд, как камень.

— Ладно! — сказал мальчик. — Завтра начнем сначала.

Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костёр разгорелся, мальчик протянул птицу к огню.

Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.

— Здравствуй! — сказал ей мальчик, чуть не плача от радости. — Погоди, Прадедушка Мороз! Мы ещё поживём!

И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мохом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом, у костра, и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра.

Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своём брате, который спрятан там, за дверью.

И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его.

И вот однажды мальчик, как всегда, принёс вязанку дров, развёл костёр и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков.

Мальчик хотел спросить: «Где же вы?» — но тяжёлая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня.

Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками.

Он дунул на костёр, и поленья стали прозрачными, а пламя чёрным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад.

— Ещё. Раз. Попадёшься. Заморожу! — сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы.

Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке.

Мальчик открыл глаза.

Заяц стоял возле.

И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу.

Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.

— Оставьте меня в покое, — пробормотал во сне старик.

И белки спрыгнули на пол и побежали к мальчику.

И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей.

И мальчик всё понял.

С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.

Вот и дубовая дверь.

Мальчик нашёл ключ с цифрой «49». Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал… но напрасно.

Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашёл что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.

И дятлы терпеливо застучали своими твёрдыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырёхугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась.

А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину. И он вставил ключ и повернул его, и замок щёлкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном.

И мальчик, дрожа, вошёл в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.

А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках — всё было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:

— Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждёт! Скорее бежим домой!

Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.

Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.

Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.

Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:

— Мальчик! Мальчик! Мальчик!

Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.

— Остановись! — приказал старик. Старший остановился.

И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой тёплой шубой.

И Старший ожил и побежал вперёд, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.

Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее, — ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы ещё раз и ещё раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости. И когда он заплакал, сразу стало теплее. И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.

— Смотри — подснежник! — крикнул Старший радостно.

Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой.

— Ничего. Отец всё умеет делать! — сказал Старший Младшему.- Он оживит тебя. Наверное оживит!

И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости. Ведь всё-таки брата он нашёл.

Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно, — ведь листья распустились, весна пришла.

И вдруг старший брат поскользнулся.

На дне ямки, под старым клёном, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший тёмный снег.

И Старший упал.

И бедный Младший ударился о корень дерева.

Сразу тихо-тихо стало в лесу.

И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос:

— Конечно! От меня. Так. Легко. Не уйдёшь!

И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал ещё ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться.

Он плакал и плакал, пока не уснул с горя как убитый.

А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили берёзовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой тёплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они улетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали тёплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали чёрными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз, и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне.

И когда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах.

Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку.

А тот открыл глаза и спросил как ни в чём не бывало:

— А, это ты? Который час?

И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой.

Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата.

— Как птицы громко кричат сегодня, — сказала мать.

— Обрадовались теплу, — ответил отец.

— Белки прыгают с ветки на ветку, — сказала мать.

— И они тоже рады весне, — ответил отец.

— Слышишь?! — вдруг крикнула мать.

— Нет, — ответил отец. — А что случилось?

— Кто-то бежит сюда!

— Нет! — повторил отец печально. -Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит.

Но мать была уже во дворе и звала:

— Дети, дети!

И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки.

Родители бросились к ним навстречу.

И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления.

Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем чёрной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять.

С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но всё-таки бывает.

И с тех пор они жили счастливо.

Правда, Старший говорил изредка брату:

— Оставь меня в покое.

Но сейчас же добавлял:

— Не надолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя.

И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.

**Михаил Лермонтов «Посреди небесных тел…»**

Посреди небесных тел  
Лик луны туманный,  
Как он кругл и как он бел,  
Точно блин с сметаной.

Кажду ночь она в лучах  
Путь проходит млечный.  
Видно, там на небесах  
Масленица вечно!

**Андрей Дементьев. Прощеное воскресение**

Прощаю всех, кого простить нельзя.  
Кто клеветой мостил мои дороги.  
Господь учил: «Не будьте к ближним строги.  
Вас все равно всех помирит земля «.  
Прощаю тех, кто добрые слова  
Мне говорил, не веря в них нисколько.  
И все-таки как ни было мне горько,  
Доверчивость моя была права.  
Прощаю всех я, кто желал мне зла.  
Но местью душу я свою не тешил.  
Поскольку в битвах тоже не безгрешен.  
Кого-то и моя нашла стрела.

**Антон Чехов. Блины**

Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского аb ovo… [с яйца, с момента возникновения… (лат.)] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили её всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами… В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трёхсаженный папоротник или каменный нож; если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними…

Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно конца им и в будущем…

Принимая во внимание почтенную давность блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и благоутробия… Обидно и за давность и за примерную, чисто спартанскую стойкость… Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики-блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели… Кроме тяжёлого, трудно переваримого теста, в них скрыто ещё что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое… Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет поднесь глубокую, непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя… Да, блины, их смысл и назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите оперетку!

Со времён доисторических русская женщина свято блюдёт эту тайну, передавая её из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает её хоть один мужчина, то произойдёт что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь… ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно… Об этом узнает только отдалённое будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают… Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины… Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских… Повара должны ретироваться и признать себя побеждёнными…

Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, a священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания… Да, страдания… Если Некрасов говорил, что русская женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины…

Я не знаю, в чём состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…

Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнёт печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до масленицы, таким образом домочадцы получают возможность есть блины и в масленичный понедельник, и 13-го числа.

Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чём-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо… После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами… Хозяйка долго потом смотрит на принесённые дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет:

— Эти дрожжи никуда не годятся. Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы тебе получше дали…

Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи… За сим берётся большая черепяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки… Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят её в тёплое место.

— Смотри же, не проспи, Матрёна…— шепчет барыня.— И чтоб у тебя банка всё время в тепле стояла!

За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей, если же спят, то бредят и видят ужасные сны… Как вы, мужчины, счастливы, что не печёте блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое утро, как барыня, босая, разлохмаченная и в одной сорочке бежит уже в кухню.

— Ну, что? Ну, как? — забрасывает она вопросами Матрёну.— А? Отвечай!

А Матрёна стоит уже у банки и сыплет в неё гречневую муку…

В-третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев-мужчин не вошёл в кухню в то время, когда там пекутся блины… Кухарки не пускают в это время даже пожарных. Нельзя ни входить, ни глядеть, ни спрашивать… Если же кто-нибудь заглянет в черепяную банку и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда хоть выливай — не удадутся блины! Что говорят во время печения блинов женщины, какие читают они заклинания — неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льёт в банку немного горячей воды или же тёплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это время, в ожидании блинов, шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят или же, по меньшей мере, женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья… Первые три блина — это макулатура, которую может съесть Егорка… зато четвёртый, пятый, шестой и т. д. кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несёт сама хозяйка, красная, сияющая, гордая… Можно думать, что у неё на руках не блины, а её первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжествующий вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий… Ещё бы, кажется, немного, и они прикажут долго жить…

Такова внешняя сторона священнодействия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдания… Очевидно, что-то есть, и это «что-то» тщательно скрыто.

Глядя на дам, следует всё-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой, мировой задачи.

**Надежда Тэффи. Блины**

**1. Блин**

Это было давно. Это было месяца четыре назад.

Сидели мы в душистую южную ночь на берегу Арно.

То есть сидели-то мы не на берегу, — где же там сидеть: сыро и грязно, да и неприлично, — а сидели мы на балконе отеля, но уж так принято говорить для поэтичности.

Компания была смешанная — русско-итальянская.

Так как между нами не было ни чересчур близких друзей, ни родственников, то говорили мы друг другу вещи исключительно приятные.

В особенности в смысле международных отношений.

Мы, русские, восторгались Италией. Итальянцы высказывали твердую, ничем несокрушимую уверенность, что Россия также прекрасна. Они кричали, что итальянцы ненавидят солнце и совсем не переносят жары, что они обожают мороз и с детства мечтают о снеге.

В конце концов мы так убедили друг друга в достоинствах наших родин, что уже не в состоянии были вести беседу с прежним пафосом.

— Да, конечно, Италия прекрасна, — задумались итальянцы.

— А ведь мороз, — он… того. Имеет за собой… — сказали и мы друг другу.

И сразу сплотились и почувствовали, что итальянцы немножко со своей Италией зазнались и пора показать им их настоящее место.

Они тоже стали как-то перешептываться.

— У вас очень много шипящих букв, — сказал вдруг один из них. — У нас язык для произношения очень легкий. А у вас все свистят да шипят.

— Да, — холодно отвечали мы. — Это происходит от того, что у нас очень богатый язык. В нашем языке находятся все существующие в мире звуки. Само собой разумеется, что при этом приходится иногда и присвистнуть.

— А разве у вас есть «ти-эч», как у англичан? — усомнился один из итальянцев. — Я не слыхал.

— Конечно, есть. Мало ли что вы не слыхали. Не можем же мы каждую минуту «ти-эч» произносить. У нас и без того столько звуков.

— У нас в азбуке шестьдесят четыре буквы, — ухнула я.

Итальянцы несколько минут молча смотрели на меня, а я встала и, повернувшись к ним спиной, стала разглядывать луну. Так было спокойнее. Да и к тому же каждый имеет право созидать славу своей родины, как умеет.

Помолчали.

— Вот приезжайте к нам ранней весной, — сказали итальянцы, — когда все цветет. У вас еще снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота!

— Ну, в феврале у нас тоже хорошо. У нас в феврале масленица.

— Масленица. Блины едим.

— А что же это такое блины?

Мы переглянулись. Ну, как этим шарманщикам объяснить, что такое блин!

— Блин, это очень вкусно, — объяснила я. Но они не поняли.

— С маслом, — сказала я еще точнее.

— Со сметаной, — вставил русский из нашей компании.

Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли.

— Блины, это — когда масленица! — толково сказала одна из наших дам.

— Блины… в них главное икра, — объяснила другая.

— Это рыба! — догадался, наконец, один из итальянцев.

— Какая же рыба, когда их пекут! — рассмеялась дама.

— А разве рыбу не пекут?

— Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело. Рыбное тело. А у блина — мучное.

— Со сметаной, — опять вставил русский.

— Блинов очень много едят, — продолжала дама. — Съедят штук двадцать. Потом хворают.

— Ядовитые? — спросили итальянцы и сделали круглые глаза. — Из растительного царства?

— Нет, из муки. Мука ведь не растет? Мука в лавке.

Мы замолчали и чувствовали, как между нами и милыми итальянцами, полчаса назад восторгавшимися нашей родиной, легла глубокая, темная пропасть взаимного недоверия и непонимания.

Они переглянулись, перешепнулись.

Жутко стало.

— Знаете, что, господа, — нехорошо у нас как-то насчет блинов выходит. Они нас за каких-то вралей считают.

Положение было не из приятных.

Но между нами был человек основательный, серьезный — учитель математики. Он посмотрел строго на нас, строго на итальянцев и сказал отчетливо и внятно:

— Сейчас я возьму на себя честь объяснить вам, что такое блин. Для получения этого последнего берется окружность в три вершка в диаметре. Пи-эр квадрат заполняется массой из муки с молоком и дрожжами. Затем все это сооружение подвергается медленному действию огня, отделенного от него железной средой. Чтобы сделать влияние огня на пи-эр квадрат менее интенсивным, железная среда покрывается олеиновыми и стеариновыми кислотами, т. е. так называемым маслом. Полученная путем нагревания компактная тягуче-упругая смесь вводится затем через пищевод в организм человека, что в большом количестве вредно.

Учитель замолчал и окинул всех торжествующим взглядом.

Итальянцы пошептались и спросили робко:

— А с какою целью вы все это делаете?

Учитель вскинул брови, удивляясь вопросу, и ответил строго:

— Чтобы весело было!

**2. Широкая масленица**

Из кухни несется чад, густой, масленный. Он режет глаза, и собравшиеся у закуски гости жмурятся и мигают.

— Блины несут! Блины несут! Несут,

Но вам не хватит. Ваш сосед взял два последних, а вам придется подождать «горяченьких».

Но, когда принесут «горяченьких», окажется, что большинство уже съело первую порцию, — и прислуга начинает подавать опять сначала.

На этот раз вам достается блин — один, всеми отвергнутый, с драным боком и дыркой посредине.

Вы берете его с кротким видом сиротки из хрестоматии и начинаете искать глазами масло.

Масло всегда бывает на другом конце стола. Это печальный факт, с которым нужно считаться. Но так как со своим маслом приходить в гости не принято, то нужно покориться судьбе и жевать голый блин.

Когда вы съедите его, — судьба, наверное, улыбнется, и вам передадут масло с двух сторон сразу. Судьба любит кротких и всегда награждает их по миновании надобности.

На самом почетном месте стола сидит обыкновенно блинный враль. Это просто-напросто хитрый обжора, который распускает о себе слухи, что он может съесть тридцать два блина.

Благодаря этому он сразу делается центром внимания. Ему первому подают, его блины прежде других подмасливаются и сдабриваются всякими масленичными аксессуарами.

Съев штук пятнадцать-двадцать, — сколько аппетита хватит, — с полным комфортом, он вдруг заявляет, что блины сегодня не совсем так испечены, как следует.

— Нет в них чего-то такого, этакого, — понимаете? Неуловимого. Вот это-то неуловимое и делает их удобосъедаемыми в тридцатидвухштучном количестве.

Все разочарованы. Хозяевы обижены. Обижены, зачем много съел, и зачем никого не удивил.

Но ему все равно.

— Что слава? яркая заплата на бедном рубище певца!

Он всех надул, поел, как хотел, и счастлив.

Еще несут горяченьких.

Теперь, когда все сыты, вам дают сразу три хороших горячих блина.

Вы шлепаете их на тарелку и в радостном оживлении окидываете глазами стол.

Направо от вас красуется убранное зеленью блюдо из-под семги, налево — аппетитный жбан из-под икры, а прямо у вашей тарелки приютилась мисочка, в которой пять минут назад была сметана.

Хозяйка посмотрит на вас такими умоляющими глазами, что вы сразу громко закричите о том, что блины, собственно говоря, вкуснее всего в натуральном виде, без всяких приправ, которые, в сущности, только отбивают настоящий вкус, и что истинные ценители блина предпочитают его именно без всяких приправ.

Я видела как-то за блинами молодого человека великой души, который, под умоляющим взглядом хозяйки, сделал вид, что нашел в пустой банке икру и положил ее себе на тарелку. Мало того, он не забывал на кусок блина намазывать эту воображаемую икру и проделывал все это с такой самоотверженной искренностью, что следившая за ним хозяйка даже в лице изменилась. Ей, вероятно, показалось, что она сошла с ума и лишилась способности видеть икру.

После блинов вас заставят есть никому не нужную и не милую уху и прочую ерунду, а когда вам захочется спать, — вас потащат в гостиную и заставят разговаривать.

Пожалуйста, только не вздумайте взглянуть на часы и сказать, что вам нужно еще написать два письма. Посмотрите на себя в зеркало, — ну кто вам поверит?

Лучше прямо подойдите к хозяйке, поднимите на нее ваши честные глаза и скажите просто:

— Я спать хочу.

Она сразу опешит и ничего не найдет сказать вам.

И пока она хлопает глазами, вы успеете со всеми попрощаться и улизнуть.

А хозяйка долго будет думать про вас, что вы шутник.

Так чего же лучше?

**Всеволод Рождественский. Русская природа**

Ты у моей стояла колыбели,  
Твои я песни слышал в полусне,  
Ты ласточек дарила мне в апреле,  
Сквозь дождик солнцем улыбалась мне.

Когда порою изменяли силы  
И обжигала сердце горечь слез,  
Со мною, как сестра, ты говорила  
Неторопливым шелестом берез.

Не ты ль под бурями беды наносной  
Меня учила (помнишь те года?)  
Врастать в родную землю, словно сосны,  
Стоять и не сгибаться никогда?

В тебе величье моего народа,  
Его души бескрайные поля,  
Задумчивая русская природа,  
Достойная красавица моя!

Гляжусь в твое лицо — и все былое,  
Все будущее вижу наяву,  
Тебя в нежданной буре и в покое,  
Как сердце материнское, зову.

И знаю — в этой колосистой шири,  
В лесных просторах и разливах рек —  
Источник сил и все, что в этом мире  
Еще свершит мой вдохновенный век!

**Константин Паустовский. Заботливый цветок**

Есть такое растение – высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошадёнки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шёл перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идёт речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из чёрной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

– Петя! – закричала она дребезжащим голосом. – Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

– Счас! – закричали в ответ мальчики. – Последний гол забьём!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала верёвку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

– Озорники! – закричали хозяйки. – Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошёл дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

– Ребята, – спросил я мальчиков, – что это за беличьи запасы, про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

– Они их себе на зиму запасают! – кричали мальчики. – Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берёт.

– Без нас эти шишки никто и не достанет! – закричал мальчик с отчаянными синими глазами. – Дупло высоко. А мы туда – раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

– А вам белок не жалко? – спросил я.

– Белки не обижаются! – закричали, волнуясь, мальчики. – Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

– Вы в лесничество идёте? – спросил меня мальчик с синими глазами.

– Да, в лесничество.

– Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в неё мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве её звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, весёлая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.  
Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около неё стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчётся над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зелёная ряска. На чистых местах цвёл водокрас – белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

– Кипрей – это наш помощник, – заметил Михаил Михайлович.

– И белки тоже неплохие помощники, – добавила Анюта.

– О белках я узнал только что, – сказал я. – От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок сосновые шишки?

– А как же! – ответила Анюта. – Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдёмте с нами завтра в лес. Сами увидите.

– Ну что ж, – согласился я. – Пойдёмте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

– Потому его и прозвали в народе иван-чаем, – объяснил Михаил Михайлович. – А помогает он нам вот чем…

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно ещё кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешёвый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Учёные, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

– Что же оказалось? – спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: – А оказалось, что кипрей – очень тёплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит тёплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмёрзнет вся верхушка, а он всё равно не сдаётся, живёт и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

– Кипрей, – сказала Анюта, – не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

– Вы думаете, один кипрей такой замечательный? – спросил меня Михаил Михайлович. – Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят – всего не перечтёшь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

– Ещё бы! – сказала Анюта. – Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила её мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

**Юрий Бондарев. Поздним вечером**

Тонко дребезжат стекла. Сквозь шум бурана слышно, как на дворе глухо хлопает калитка. Коля, весь напрягаясь, останавливает взгляд на окне, потом негромко говорит:

— Показалось… Я думал, мама, а это ветер. Ты, Миша, слышал, как загремело?

— Непогода какая… — Миша, послюнив палец, не сразу перелистывает страницу, с сосредоточенным видом наклоняется над книгой и прерывисто вздыхает: — Прямо не дождешься.

Колина мать работает врачом в степном районе, недалеко от города Актюбинска; каждое утро за ней приезжают сани из больницы, и дед Степан увозит ее до восьми часов вечера. Сейчас уже десять, но ее все нет. А буран хлещет в стели, гремит по крыше, дико взвизгивает в трубе, дергает дверь в сенях, будто кто-то в злобе ударяет, наваливается плечом, срывает ее и не может сорвать с петель. На улице все гудит, и порой кажется, что комната несется по воздуху, в вихрях снега, оторванная от всего мира.

Мальчики сидят на диване и то и дело поглядывают на стенные часы. Миша хмурится и, стараясь не сопеть, уже второй раз осторожно листает книгу про зверей Африки. Он давно торопится домой, так как отпросился к Коле «только на минуту», но ему и боязно, и неудобно уходить, хотя живет он рядом — через несколько домов.

А часы на стене неустанно и сонно тикают. Изредка в них что-то обрывается. Тогда гиря дергается, и мальчики вздрагивают. В комнате полутемно. Возле дивана на столе горит большая керосиновая лампа: два дня нет электричества — буран порвал провода. Радио тоже молчит. Два дня в степи, не утихая, ревет непогода. Она царапает стены, стучит в стекла и кидает в них непроглядным снегом, все наваливая и наваливая под окнами сугробы.

— Буран! — говорит Миша, поднимая голову от книги. — Ишь как воет… Страшно сейчас в степи.

Коля внимательно смотрит на Мишу, с минуту слушает, как воет буран, и вдруг начинает беспокоиться:

— Как бы мамка не заблудилась…

— А ты знаешь, в позапрошлую зиму тракторист окоченел до смерти, заблудился… а в прошлую отец чуть совсем не замерз, — почему-то шепотом говорит Миша и делает такое лицо, точно сообщает по секрету о необыкновенной тайне.

Коля уже слышал эту историю несколько раз, но ему хочется заново послушать.

— Как же это? — удивленно спрашивает он и подвигается ближе к Мише. — Сказки бабушкины.

Но глаза у Миши очень серьезные.

— Не сказки, а очень просто. Поехал отец в бригаду: что-то с тракторами случилось. Темнища — жуть! Хуже, чем сейчас. Буран так и метет, так и метет… Знаешь, как в степи? Я ездил раз в МТС, так знаю… А отец ехал, ехал — и вдруг дороги нет, заблудился. Мы его ждали, ждали целую ночь. Мать говорит: «Ну, пропал отец!» И вдруг слышим — лошадь пришла. Выбежали мы, а отец весь в снегу, прямо и лица не видно! Мамка чуть не плачет, а он говорит: «На войне не погиб, а здесь чуть…» Ноги, руки снегом оттирал — белые все были…

Опять хлопает калитка, гремит в трубе, в сенях, позванивают стекла, и мальчикам кажется, что кто-то огромный колотит озлобленно по стенам, топчется в тяжелых валенках под окном, и давит на стекла, и стонет от нетерпения.

И от этого хаоса звуков уши наполняются протяжным, тонким звоном.

— Ветер, — выдыхает Коля. — Это ветер…

Миша тихонько смеется:

— Конечно, ветер! Давай книжку смотреть! Ты садись рядом, а?..

Подумав, Коля садится вплотную к Мише, а тот сопит, с какой-то опаской перелистывает страницы и украдкой из-за плеча оглядывается на черные окна. Коля, тоже озираясь на темные углы, поеживаясь, спрашивает негромко:

— Ты почему так смотришь? Мерещится тебе?

— Не-ет, что ты! Вот выдумал, — шепчет Миша, нагнув голову.

В тишине листы книги, толстые, гладкие, гремят, как полотно на ветру. Минуту оба молчат. Потом Миша напряженно морщит лоб и, глотая слюну, говорит:

— Как я домой теперь пойду? Мать, наверное, ищет…

— Знаешь, давай чай пить, — предлагает Коля с надеждой. — Чайник поставлю, у нас конфеты шоколадные есть. «Белка» называются». Хочешь, Миша?

— Да мне идти нужно. Я уроки еще не делал. А то завтра по арифметике Марья Сергеевна ка-ак вызовет да ка-ак двойку поставит!..

— Ну и иди. — Коля презрительно усмехается. — Боишься, достанется дома? А в школе хвастался, что тебя никогда не ругают! Врешь все!

Миша сдвигает рыжеватые брови. Он колеблется.

— Давай… подождем еще, — нерешительно соглашается он и снова украдкой косится на окна.

Коле сразу становится веселее. Ему хочется рассказать сейчас то, о чем он давно думал, и он заговорщицки говорит:

— Ты знаешь… Вот если бы война… ты как, пошел бы в разведчики?

— Не возьмут, — вяло отвечает Миша. — Не доросли, скажут. — Он откладывает книгу и, некоторое время соображая, деловито насупливается. — Может, взяли бы, только мать вот…

— Ерунда какая! — возражает Коля. — А если бы наша страна воевала с фашистами? Нет, меня бы мать отпустила. Как отца. — Коля пристально смотрит на стену, где в черной рамке висит портрет. — У меня отец был артиллерист. Он дрался с «тиграми», танки были такие у немцев. Отца ранило, а он все стрелял… Пять танков подбил…

— У меня отец тоже, — кивает Миша, ссутуливаясь. — Ничего не боится.

— А ты боишься? — подозрительно спрашивает Коля.

— Нет… Что ты! А вот только отец мой ничего не боится, твоя мать тоже. Видишь, какой буран, света не видать, а она поехала.

— Она вся в отца, — серьезно заявляет Коля. — Отец сам говорил…

— Коль, а Коль, — немного подумав, очень тихо спрашивает Миша, — а ты в отца?

Коля переводит взгляд на окно, за которым с воем мелькают мутные тени, и опускает глаза.

— Я не знаю, — отвечает он, видимо опечаленный. — Отец ничего обо мне не говорил.

— А автоматы дали бы? — неожиданно спрашивает Миша. — Автоматы нужны, а то убьют!

Коля задумывается, затем машет рукой.

— А как же! Я знаешь о чем — Ведь я, наверно, не испугался бы. Пошли бы вместе с тобой. И выручали бы друг друга в бою.

— Да, — соглашается Миша, — одному плохо. Двоим лучше. Помочь можно друг другу.

Минуты три оба молчат. Коля берет со стола и долго рассматривает перочинный ножик с перламутровой ручкой, говорит грустно:

— Отец подарил. Это его ножик, до фронта. На память. Хороший?

— Ага. Только не острый, — хозяйственно замечает Миша, попробовав лезвие пальцем. — И легкий. Пушинка.

— Я его берегу.

— Стой, ходит кто-то. По чердаку ходит, слышь?.. Шаги, — шепчет Миша, вслушиваясь. — Вроде разговаривают там, слышь? Нет?..

Он с побледневшим лицом озирается на Колю, изо всех сил удерживая дыхание, широкие ноздри его раздуваются.

— Никого там… буран это, — отвечает Коля с трудом равнодушно. — Мерещится тебе…

Миша мигает ресницами и слабо шевелит дрожащими губами:

— Мне мамку жалко. Она, должно, по поселку бегает, меня ищет. Ведь я из школы домой забежал — и прямо к тебе. А я ничего не боюсь. Мне домой надо… — И Миша виновато ерзает, избегая встретиться с Колей взглядом.

— Знаешь, — говорит Коля и даже встает с дивана. — Ты иди домой. Иди, Мишка, чего уж… Я останусь.

Миша, округливая рыжие брови, испуганно смотрит на Колю, но тот быстро отворачивается, повторяет с насмешкой:

— Иди, иди, я обижаться не стану, а то еще дома достанется, отколотят еще.

— Да надо ведь мне…

Однако Миша не сразу решается уходить. Ему неудобно и неловко: как же оставить товарища одного? Наконец он уходит, надев пальто, для смелости нахлобучив на глаза шапку, убегает в темь и буран. Коля закрывает за ним дверь и, вернувшись в комнату, некоторое время чувствует странное возбуждение.

«Пусть, пусть! — мстительно думает Коля. — Я и один ждать буду…»

Но в комнате после ухода Миши становится очень пусто и тихо. И возбуждение быстро проходит. Коля садится к столу в одиночестве и, чтобы отогнать от себя грустные мысли, старается представить себе, как будет, когда приедет мать… Она, скинув завьюженный тулуп, улыбнется ему, поцелует его холодными губами и, конечно, скажет: «Заждался? Ну, Колька, сейчас будем чаевничать!» Щуря близорукие глаза, она подолгу моет руки и тщательно вытирает их полотенцем; от нее приятно пахнет морозом и каким-то лекарством. Она будет ходить по комнате, звенеть посудой, спрашивать о школе и наконец сядет с ним за стол. Весело на плите зафыркает чайник, и тотчас в комнате станет тепло и уютно.

«Мама, я тебя все ждал, — скажет он, — два раза чайник подогревал, а ты так долго…»

Коля вздрагивает: ему кажется, что он уснул и во сне сидит на краешке стула; а веки у него тяжелые-тяжелые и необоримо смыкаются сами. На столе сонным круглым бликом светится бок большого металлического чайника. Посреди скатерти, придавленный чашкой, белеет листок бумаги: «Ужинай, ложись спать. Не жди меня. Мама». И от этих слов, написанных, как всегда, рукой матери, горько и тоскливо сосет под ложечкой, словно кто-то беспощадно хочет обмануть его.

Потом он представляет, как мать едет в санях. Лошадь едва плетется вся в снегу, и морда ее, заиндевевшая и белая, окутываясь паром, кланяется сугробам. Мать не видно в санях: она укрылась шубой и спит. Потом она просыпается, выглядывает из-под шубы и говорит лошади: «Смотри, какой буран! Ты не спи! Не занесло бы нас! Ведь Колька один дома!» Возница дед Степан погоняет усталую лошадь. Но она уже не хочет идти дальше. И снег постепенно заносит сани, лошадь, наметая огромный сугроб…

Что-то страшно гремит и рассыпается стеклянным звоном. Коля вскакивает, широко раскрыв глаза.

— Что это? Мама!..

На полу разбитая чашка. Осколки рассыпались возле ножки стола и странно-спокойно поблескивают на свету. Рядом лежит записка матери. За окном безмолвно — вероятно, буран стих. И четко и громко отстукивают, скрипят ходики на стене. Ему сейчас не жалко чашку. Он лишь жалеет об одном: зачем отпустил Мишку, вдвоем веселее. И Коле сейчас так невыносимо одиноко, неспокойно, что хочется плакать.

Он идет к дивану. Тихо скрипят под ногами половицы, и подрагивает стол, как живой. Лампа мерцает и вспыхивает: нет керосина. По потолку, по стенам от этого мерцающего света, округляя углы, бродят тени. Коля наклоняется к лампе, глазам становится горячо, лбу жарко. Он выворачивает побольше фитиль и вдруг вытягивает шею и, не отрывая глаз, смотрит на окно. В безмолвии размеренно скрипит снег: скрип-скрип. Кто-то ходит под окнами, но никто не стучит в стекла, и Коля чувствует ознобные мурашки на спине. «Скрип-скрип, — выговаривает под окном снег, — скрип-скрип».

«Кто это?» — думает Коля, цепенея от страха.

Ему хочется с закрытыми глазами броситься на диван, потушить лампу, залезть с головой под одеяло, чтобы ничего не слышать и ничего не видеть. Проходит несколько минут. Он слышит, как молотком колотится сердце, отдаваясь в голове.

— Никого там нет… — шепчет, убеждая самого себя Коля. — Чудится мне…

Он осторожно оглядывает комнату и замечает на столе перочинный ножик с перламутровой ручкой. Затаив дыхание, Коля берет ножик; успокоительно-аккуратный, гладкий, он умещается в кулаке. Пальцы все крепче сжимают его, подарок отца, эту единственную защиту и помощь.

А огонь в лампе дергается, сникает и, чадя, гаснет. Комната погружается во мрак, среди которого синеющими проемами светятся от лунного света мерзлые окна. За ними — непонятная пустота ночи, где только что поскрипывал снег, необъяснимо сковывает Колю знобящим страхом. Он не может пошевелиться.

«Нет, нет, — опять убеждает он себя. — Я не испугался… Показалось мне, и все».

На ватных ногах он с усилием делает два шага к окну и, всхлипывая от ожидания чего-то страшного, трет пальцем холодное, обросшее инеем стекло. Блестят освещенные луной морозные узоры. Они кажутся необыкновенным зимним лесом. Коля ничего не может рассмотреть сквозь них. Тогда, замирая, с млеющим холодком в животе, он идет в сени и там настежь открывает двери, готовый крикнуть: «Кто?» Никого нет. Мороз и синяя ночь. На дворе лежит лунный снег. Улицы не видно: снегу намело по крыши. Стоя в дверях, Коля весь дрожит от студеного воздуха. На улице ни огонька. «Где же мамка? — думает с тревогой Коля. — Где она?»

Он закрывает дверь, входит в комнату, садится на диван, опять дремота постепенно обволакивает его. И внезапно стекло звонко дребезжит над самым ухом, но Коле кажется, что это стучат не в окно, а звенит у него в ушах.

— Коля, открой! Коля!

Радость перехватывает дыхание. Он вскакивает.

— Мамка! Приехала! Я сейчас! Я сейчас! — громко кричит он и бежит к двери и теперь лишь замечает зажатый в руке отцовский перочинный ножик.

…Когда они сидят за столом и пьют крепкий, пахучий чай, Коля необыкновенно счастлив: мать рядом с ним, она моет руки, вытирает их полотенцем, ласково щурит глаза. Лицо у нее усталое. Она спрашивает удивленно:

— Ты все ждал меня? И не спал?

— Ждал. Мишка у меня был! Мы вдвоем ждали! А я чашку разбил.

— Колька ты мой, Колька, — говорит мать и нежно шевелит, треплет его волосы. — А я с операции. Никак не могла раньше.

Коля хочет сказать матери о своем решении никогда больше не оставаться одному дома, но видит: мать задумчиво разглядывает стол, и у нее медленно клонится голова. Она встряхивает головой и виновато улыбается.

— Ложись, мам, ложись, — чувствуя необыкновенный прилив любви к матери, говорит Коля. — Ты устала! Ты ведь устала, мама! Да?

Мать целует его и, на ходу раздеваясь, идет к постели.

— А я подъезжаю и думаю: «Спит мой Колька, наверное». А ты, оказывается, ждал! Ах ты, Колька мой! Один, все время один. — И она как-то растерянно оборачивается к нему. — Ну, ложись, сын, а то завтра рано вставать. Давай радио включим, чтобы разбудило…

Мать, по-видимому, так сильно устала, что даже забыла: буран порвал провода, и радио молчит.

Он ничего не говорит ей, соскакивает со стула и берет с тумбочки старый будильник, внутри которого старательно бьется сердце. Высунув от напряжения язык, Коля ставит стрелку на шесть часов, потом оглядывается на мать и чуть-чуть переводит стрелку — на десять минут седьмого.

— Мама, пожалуйста, ложись, — повторяет Коля и быстро начинает убирать со стола. — Я тоже сейчас лягу. И знаешь… Это ничего: будем живы, не умрем, — добавляет он так же, как говорил когда-то матери отец.

Мать сразу засыпает, и Коля слышит, как во сне она разговаривает с какой-то старшей сестрой, наверно, тяжелая была операция… Коля также ложится и, прислушиваясь к неспокойному дыханию матери, сквозь сон усмехается, вспомнив ножик с перламутровой ручкой.

— Мам, а мам, — еле шепчет он. — Ты обо мне не беспокойся… Как ты думаешь, я в отца?

В комнате темно и тихо.

**Алексей Апухтин. Солдатская песня о Севастополе**

Не веселую, братцы, вам песню спою,  
Не могучую песню победы,  
Что певали отцы в Бородинском бою,  
Что певали в Очакове деды.

Я спою вам о том, как от южных полей  
Поднималося облако пыли,  
Как сходили враги без числа с кораблей  
И пришли к нам, и нас победили.

А и так победили, что долго потом  
Не совались к нам с дерзким вопросом;  
А и так победили, что с кислым лицом  
И с разбитым отчалили носом.

Я спою, как, покинув и дом и семью,  
Шел в дружину помещик богатый,  
Как мужик, обнимая бабенку свою,  
Выходил ополченцем из хаты.

Я спою, как росла богатырская рать,  
Шли бойцы из железа и стали,  
И как знали они, что идут умирать,  
И как свято они умирали!

Как красавицы наши сиделками шли  
К безотрадному их изголовью;  
Как за каждый клочок нашей русской земли  
Нам платили враги своей кровью;

Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым,  
Под немолчные, тяжкие стоны  
Выходили редуты один за другим,  
Грозной тенью росли бастионы;

И одиннадцать месяцев длилась резня,  
И одиннадцать месяцев целых  
Чудотворная крепость, Россию храня,  
Хоронила сынов ее смелых…

Пусть нерадостна песня, что вам я пою,  
Да не хуже той песни победы,  
Что певали отцы в Бородинском бою,  
Что певали в Очакове деды.

**Афанасий Фет. Севастопольское братское кладбище**

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна  
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!  
Рукою набожной сложила здесь отчизна  
Священный прах своих сынов.

Они и под землей отвагой прежней дышат…  
Боюсь, мои стопы покой их возмутят,  
И мнится, все они шаги живого слышат,  
Но лишь молитвенно молчат.

Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:  
Тут что ни мавзолей, ни надпись — все боец,  
И рядом улеглись, своей залиты кровью,  
И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,  
Им внуков поучать навеки суждено,  
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,  
Что им завидовать грешно…

**Рюрик Ивнев. Севастополь** *(В сокращении)*

Смотрите на меня во все бинокли,  
Расширьте изумленные глаза:  
Я пережил осаду Севастополя,  
Хоть не бы в нем сто лет тому назад.

Забыв от страха ощущенье страха,  
Влюбленный в жизнь, но не дрожа за жизнь,  
Я защищал крутой курган Малахов  
Под ядрами средь беспрерывных тризн.

Я был убит, как адмирал Нахимов,  
Я разрывался на куски стократ  
И был зарыт в бесчисленных могилах,  
Как тысячи матросов и солдат.

Но, как сама бессмертная Россия,  
Став в эти дни сильней, чем Голиаф,  
Я, зубы сжав и муки пересилив,  
Восстал из гроба, смертью смерть поправ.

**Федор Тютчев «Чему бы жизнь нас не учила…»**

Чему бы жизнь нас ни учила,  
Но сердце верит в чудеса:  
Есть нескудеющая сила,  
Есть и нетленная краса.

И увядание земное  
Цветов не тронет неземных,  
И от полуденного зноя  
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет  
Того, кто ею лишь живет,  
Не всё, что здесь цвело, увянет,  
Не всё, что было здесь, пройдет!

Но этой веры для немногих  
Лишь тем доступна благодать,  
Кто в искушеньях жизни строгих,  
Как вы, умел, любя, страдать.

Чужие врачевать недуги  
Своим страданием умел,  
Кто душу положил за други  
И до конца всё претерпел.

**Николай Лесков. Неразменный рубль**

*Глава первая*

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он всё-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять чёрную без одной отметины кошку и нести её продавать рождественскою ночью на перекрёсток четырёх дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Всё это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придёт кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, — ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он всё-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

*Глава вторая*

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счёт, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далёком распутье и торговаться с ним за чёрную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники жёлтые, с патокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или ещё проще «шмотья», бывают орехи простые и калёные; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснёшься, бабушка принесёт тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщённый этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

*Глава третья*

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своём большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль, — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдём к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, — совершенно один, — можешь идти на ярмарку и покупать всё, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

— Да, — говорю, — я уже всё это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, — его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведётся в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведёшь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я её уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — но, однако, ты всё-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

— Очень рада, — посмотрим. Но ты всё-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублём, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне советы, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах всё, что мне нужно.

— В таком разе идём. — И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придёт к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

*Глава четвёртая*

Погода была хорошая, — умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнём и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да ещё мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целёхонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти ещё раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и… мой неразменный рубль был в моём кармане.

— Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чём дело, и могу действовать смелее.

*Глава пятая*

Я подошёл к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, — мой неразменный рубль всё был на своём месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моём кармане.

— Невесте идёт принарядиться, — сказала бабушка, — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы её обрадовать, — от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному телёнку, который жил в одной избе со скотницею. Телёнок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для неё новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман — мой рубль был снова на своём месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал всё, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а весёлому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, всё был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал её выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умён, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

*Глава шестая*

А в это самое время, — откуда ни возьмись — ко мне подошёл самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить всё, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я её, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы всё покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоём, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нём нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было всё, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, — за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнём, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с её новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось всё это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю, — отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: — Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

*Глава седьмая*

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, — вы не понимаете, в чём дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нём стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно, — отвечал я, — я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и… проснулся…

*Глава восьмая*

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в её большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что всё виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чём я плакал.

— Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, — особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаённый смысл. Неразменный рубль — по-моему, это талант, который Провидение даёт человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырёх дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чём для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Всё, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх тёплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог ещё сделать, владея безрасходным рублём, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и — рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим всё то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то… я тебя понимаю…

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце моё исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того ещё ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своём нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдёт в словах моих не ложь, а истинную правду.

**Виктор Астафьев. Бабушка с малиной**

На сто первом километре толпа ягодников штурмует поезд Комарихинская — Тёплая гора. Поезд стоит здесь одну минуту. А ягодников тьма, и у всех посуда: кастрюли, вёдра, корзины, бидоны. И вся посуда полна. Малины на Урале — бери не переберёшь.

Шумит, волнуется народ, гремит и трещит посуда — поезд стоит всего минуту.

Но если бы поезд стоял полчаса, всё равно была бы давка и паника. Так уж устроены наши пассажиры — всем хочется быстрее попасть в вагон и там уж ворчать: «И чего стоит? Чего ждёт? Рабо-о-тнички!»

У одного вагона гвалта и суеты особенно много. В узкую дверь тамбура пытаются влезть штук тридцать ребятишек, и среди них копошится старушонка. Она остреньким плечом «режет массы», достигает подножки, цепляясь за неё. Кто-то из ребят хватает её под мышки, пытаясь втащить наверх. Бабка подпрыгивает, как петушок, взгромождается на подножку, и в это время случается авария. Да что там авария — трагедия! Самая настоящая трагедия. Берестяной туес, привязанный на груди платком, опрокидывается, и из него высыпается малина — вся, до единой ягодки.

Туес висит на груди, но уже вверх дном. Ягоды раскатились по щебёнке, по рельсам, по подножке. Бабка оцепенела, схватилась за сердце. Машинист, уже просрочивший стоянку минуты на три, просигналил, и поезд тронулся. Последние ягодники прыгали на подножку, задевая бабку посудой. Она потрясённо смотрела на уплывающее красное пятно малины, расплеснувшееся по белой щебёнке, и, встрепенувшись, крикнула:

— Стойте! Родимые, подождите! Соберу!..

Но поезд уже набрал скорость. Красное пятно мелькнуло зарницею и погасло за последним вагоном. Проводница сочувственно сказала:

— Чего уж там собирать! Что с возу упало… Шла бы ты, бабушка, в вагон, а не висела на подножке.

Так, с болтающимся на груди туесом, и появилась бабка в вагоне. Потрясение всё ещё не сошло с её лица. Сухие, сморщенные губы дрожали и дрожали, руки, так много и проворно работавшие в этот день, руки старой крестьянки и ягодницы, тоже тряслись.

Ей поспешно освободили место — да и не место, а всю скамейку — притихшие школьники, видимо всем классом выезжавшие по ягоды. Бабка молча села, заметила пустой туес, сорвала посудину вместе со стареньким платком через голову и сердито запихнула его пяткой под сиденье.

Сидит бабка одна на всей скамейке и неподвижно смотрит на пустой фонарь, подпрыгивающий на стене. Дверца у фонаря то открывается, то закрывается. Свечи в фонаре нет. И фонарь уже ни к чему. Поезд этот давно уже освещается электричеством, а фонарь просто запамятовали снять, и вот он и остался сиротой, и дверца у него болтается. Пусто в фонаре. Пусто в туесе. Пусто у бабки на душе. А. ведь ещё какой-то час назад она была совершенно счастлива. В кои-то веки поехала по ягоды, через силу лазила по чащобе и лесным завалам, быстро, со сноровкой собирала малину и хвастала ребятишкам, встретившимся в лесу:

«Я прежде проворная была! Ох, проворна! По два ведра малины в день насобирывала, а черницы либо брусники, да с совком, и поболе черпывала. Свету белого не видать мне, если вру», — уверяла бабка поражённых ребят. И — раз-раз, незаметно так, под говорок, обирала малину с кустов. Дело у неё спорилось, и удобная старинная посудина быстро наполнялась.

Ловка бабка и на диво говорлива. Успела рассказать ребятам о том, что человек она ноне одинокий, пережила всю родову. Прослезилась, помянув внука Юрочку, который погиб на войне, потому что был лихой парень и не иначе как на танку бросился, и тут же, смахнув платком слёзы с реденьких ресниц, затянула:

В саду ягода малина

Под у-у-у-укрытием росла-а-а…

И даже рукой плавно взмахнула. Должно быть, компанейская бабка когда-то была. Погуляла, попела на своём веку…

А теперь вот молчит, замкнулась. Горе у бабки. Предлагали ей школьники помощь — хотели взять туес и занести его в вагон — не дала. «Я уж сама, робятки, уж как-нибудь, благословясь, сама, я ещё проворна, ух, проворна!»

Вот тебе и проворна! Вот тебе и сама! Была малина — и нет малины.

На разъезде Коммуна-кряж в вагон вваливаются три рыбака. Они пристраивают в углу связки удочек с подсачниками, вешают на древние чугунные крючки вещмешки и усаживаются подле бабки, поскольку только подле неё и есть свободные места.

Устроившись, они тут же грянули песню на мотив «Соловей, соловей — пташечка»:

Калино, Лямино, Левшино!

Комариха и Тёплая гора!..

Рыбаки эти сами составили песню из названий здешних станций, и песня им, как видно, пришлась по душе. Они её повторяли раз за разом. Бабка с досадой косилась на рыбаков. Молодой рыбак в соломенной драной шляпе крикнул бабке:

— Подтягивай, бабусь!

Бабка с сердцем плюнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Один из школьников придвинулся к рыбаку и что-то шепнул ему на ухо.

— Ну-ну! — удивился рыбак и повернулся к бабке, всё так же отчуждённо и без интереса смотревшей в окно: — Как же это тебя, бабусь, угораздило?! Экая ты неловкая!

И тут бабка не выдержала, подскочила:

— Неловкая?! Ты больно ловкий! Я раньше знаешь какая была! Я ране… — Она потрясла перед рыбаком сухоньким кулачишком и так же внезапно сникла, как и взъерошилась.

Рыбак неловко прокашлялся. Его попутчики тоже прокашлялись и больше уже не запевали. Тот, что был в шляпе, подумал, подумал и, что-то обмыслив, хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб, двинулся по вагону, заглядывая к ребятам в посуду:

— А ну, показывай трофеи! Ого, молодцы! С копной малины набрала, молодец!.. — похвалил он конопатую девочку в лыжных штанах. — И у тебя с копной!.. И у тебя!.. Молодцы! Молодцы! Знаете что, ребятки, — хитро, со значением прищурился рыбак, — подвиньтесь-ка ближе, и я вам очень интересное скажу на ухо.

Школьники потянулись к рыбаку. Он что-то прошептал им, подмигивая в сторону бабки, и лица у ребят просияли.

В вагоне всё разом оживилось. Школьники засуетились, заговорили. Из-под лавки был извлечён бабкин туес. Рыбак поставил его подле ног и дал команду:

— Налетай! Сыпь каждый по горсти. Не обедняете, а бабусе радость будет!

И потекла малина в туес, по горсти, по две. Девочка в лыжных штанах сняла «копну» со своего ведра.

Бабка протестовала:

— Чужого не возьму! Сроду чужим не пользовалась!

— Молчи, бабусь! — урезонил её рыбак. — Какое же это чужое? Ребята ж эти все внуки твои. Хорошие ребята. Только догадка у них ещё слаба. Сыпь, хлопцы, сыпь, не робей!

И когда туес наполнили доверху, рыбак торжественно поставил его бабке на колени.

Она обняла посудину руками и, пошмыгав носом, на котором поплясывала слеза, всё повторяла:

— Да милыя, да родимыя!.. Да зачем же это? Да куда мне столько? Да касатики вы мои!..

Туес был полон, даже с «копной». Рыбаки снова грянули песню. Школьники тоже подхватили её:

Эх, Калино, Лямино, Левшино!

Комариха и Тёплая гора!..

Поезд летел к городу. Электровоз рявкнул озорно, словно бы выкрикивал: «Раздайся, народ! Бабку с малиной везу!» Колёса вагонов поддакивали: «Бабку! Бабку! С малиной! С малиной! Везу! Везу!»

А бабка сидела, прижав к груди туес с ягодами, слушала дурашливую песню и с улыбкой покачивала головой:

— И придумают же! Придумают же, лешие! И что за востроязыкий народ пошёл!..

**Радий Погодин. Кирпичные острова.** Рассказы про Кешку и его друзей

КАК Я С НИМ ПОЗНАКОМИЛСЯ

**Е**сть у меня друг – замечательный человек и хороший геолог. Работает он на Севере, в Ленинград приезжает редко, писем совсем не пишет – не любит. От людей я слышал, что семья моего приятеля переехала на другую квартиру. Я поспешил по новому адресу: авось узнаю что-нибудь о товарище, а повезет, так и его самого повидаю.

Дверь мне открыл мальчишка лет восьми-девяти. Он показался мне немного странным, все время поеживался, на меня не глядел, прятал глаза. Мальчишка сказал, что друг мой ушел утром и еще не приходил. Говорил он не разжимая рта, сквозь зубы, и очень торопился. Наверное, я оторвал его от интересной игры. Ну, а мне торопиться некуда. Я вошел в комнату, сел на диван и стал читать книгу. Прочитал страничку, прочитал другую, слышу, за стенкой кто-то запел.

Шли лихие эскадроны

приамурских партизан…

Поет человек и пусть себе поет, если ему весело. Я сам люблю петь. Только я это подумал, как за стеной снова раздалось:

Шли лихие эскадроны

приамурских партизан…

Теперь он пел громче, почти кричал, а на словах "лихие эскадроны" подвывал немного и захлебывался. Потом запевал опять и опять… и все про партизан. Я пробовал читать книгу, но у меня ничего не получалось. Певец так завывал, что я не вытерпел, вышел в коридор и постучал в соседнюю дверь. Песня раздалась еще громче. Я даже удивился, как это можно так петь. Я постучал еще раз и еще… Наконец пение прекратилось, за дверью раздалось шмыганье носом и глухой голос сказал:

– Чего?

– Послушайте, не можете ли вы петь потише?

– Ладно, – согласился певец и тут же заорал так громко, что я попятился от двери:

Шли лихие эскадроны

приамурских партизан…

Потом началось что-то совсем непонятное. "Шли лихи-и… Шли лихи-и… Шли лихи-и…" – выкрикивал певец не своим голосом.

Я совсем растерялся. Может быть, за дверью сумасшедший? И тогда надо звать на помощь докторов, санитаров. Может быть, это очень опасный сумасшедший, и на него нужно надеть смирительную рубашку. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел: лежит на оттоманке тот самый мальчишка, что впустил меня в квартиру, кусает подушку, бьет ногами по валику и горланит песню. А из глаз его бегут слезы.

– Чего это ты орешь? – спросил я.

Мальчишка стиснул зубы, сжал кулаки.

– Ухо болит. – Потом лягнул ногой и снова запел: – Шли лихи-и…

– Вот смешной! – начал было я. – Ухо болит, а ты поешь. – Но мальчишка посмотрел на меня такими глазами, что я прикусил губу. Я догадался.

Когда я был солдатом, у меня тоже однажды заболело ухо, ночью в казарме. Плакать солдатам нельзя ни за что. Я ворочался с боку на бок, так же вот грыз подушку и сам не заметил, как раздвинул прутья на спинке кровати и сунул между ними голову. Потом боль утихла, и я уснул. А когда проснулся, то не мог встать, не мог вытащить обратно голову. Пришлось двум солдатам разжимать прутья, а ночью я разжал их один. Вот какая была боль.

Я с уважением глянул на мальчишку, а он на меня – залитым слезой глазом. Он молчал, и ему это было очень трудно.

Я бросился звонить по телефону в поликлинику. Меня долго расспрашивали, что болит, у кого болит… Наконец сказали: "Будет доктор".

Я ходил по комнате, и, как только за стеной раздавалось про партизан, я начинал подпевать. Вот так мы пели: он в одной комнате, я – в другой.

Скоро приехал врач – молоденькая чернобровая девушка в белом халате. Она сразу спросила:

– Где больной?..

Я показал на мальчишкину дверь. А он там снова загорланил про своих партизан.

– Как вам не стыдно обманывать? – рассердилась девушка доктор. – Какой же это больной, если он песни распевает таким диким образом?

– Доктор, это настоящий больной, это такой больной… – И я рассказал все как есть. Девушка вошла в комнату к мальчишке и твердым голосом сказала:

– Смирно!.. Прекратить пение!

Мальчишка затих, сел на оттоманке. Сидеть смирно ему было трудно, у него все время дергались ноги.

Девушка-доктор налила ему в ухо пахучей желтой камфары, обложила ухо ватой и завязала бинтом. А меня заставила вскипятить воду для грелки.

Пока мы возились, мальчишка молчал, только губы у него шевелились: он потихоньку – про себя – пел свою песню.

Девушка доктор скоро ушла к себе в поликлинику. Больной уснул. А я сидел в комнате рядом, ждал своего друга и думал: "Что это за мальчишка, который умеет петь в такие минуты, когда взрослые и те подчас плачут?.."

Позже я узнал, что имя у него очень веселое – Кешка, и услышал много всяких рассказов о нем и его товарищах.

Вот они.

КИРПИЧНЫЕ ОСТРОВА

**Н**а задний двор редко заглядывали взрослые. Там высились кучи дощатых ящиков, валялись бочки с налипшим на бурые бока укропом. Лежали груды известки и кирпича.

В марте, когда с крыш сбросили снег, задний двор превратился в недоступную горную страну, которую с криком штурмовали альпинисты, отважные и драчливые. Самыми бесстрашными среди них были Мишка и Кешка.

Вскоре горная страна стала оседать. Острые пики обвалились. А в конце апреля задний двор превратился в громадную лужу.

Ребята уже не заглядывали сюда. Девчонки кидали в начерченные на тротуарах квадраты жестяные банки из-под гуталина, именуемые странным словом "скетишь-бетишь", и без устали прыгали на одной ноге. Мальчишки, вытирая на ходу носы, гонялись друг за другом по всем правилам новой воинственной игры – "Ромбы". И только Сима из четвертого номера остался верен заднему двору. Он выстругал из дощечек, отломанных от ящика, остроносые корабли. Приладил им клетчатые паруса из тетрадки по арифметике и пустил свой флот в далекое плавание.

Плывут корабли, садятся на известковые рифы, причаливают к кирпичным островам. А адмирал Сима бегает по узкой полоске суши у самой стенки дома.

– Право руля!.. Паруса крепи!.. – Но нет у него сил помочь потерпевшим крушение. Лужа глубокая, а башмаки…

Заглянул на задний двор Кешка. Оглядел Симу с головы до ног, сказал, как говорят взрослые:

– Сима, у тебя здоровье хлипкое, а ты вон вымок весь. Подхватишь грипп – опять свалишься…

Сима насупился. А Кешка присел на корточки, стал смотреть. Один кораблик на суше лежит с поломанной мачтой; другой – к кирпичу приткнулся; третий – зацепился за что-то посреди лужи и поворачивался на одном месте.

– Сима, чего это корабль крутится?

– Это его гигантский кальмар щупальцами схватил…

Кешка захохотал.

– Ой, Сима… Да это же гнилая стружка, в какую яблоки упаковывают.

– Ну и что же? – тихо возразил Сима. – Все равно. – Сима сжал губы, нахмурил лоб и сказал убежденно: – Нет, кальмар. И экипаж корабля сейчас с ним сражается.

Кешка присвистнул, засмеялся еще громче.

– Если б ты моторный корабль сделал, я понимаю. А это… – Он сплюнул в лужу и пошел под арку, но на полпути передумал, вернулся.

– Знаешь что, Сима, я все-таки с тобой побуду, ладно?

– Как хочешь, – ответил Сима равнодушно, взял дощечку и стал, как веслом, разгребать воду. От дощечки пошли волны по всей луже. Кораблик, приткнувшийся к кирпичу, закачался, задрал нос и поплыл дальше. Корабль, что в стружке запутался, подскакивал на волнах, но стружка держала его крепко. Он кренился, палубу ему заливало водой.

– Пойду домой, – наконец решил Сима.

– А корабли?..

– Они в плавании. Им еще далеко плыть.

Кешка покачал головой.

– Чудной ты!.. Брось, не ходи. Давай лучше полежим на ящиках, посушимся.

Они сняли пальто, разложили их на досках. А сами залезли в ящики из-под яблок. Лежат на спине, смотрят в глубокое, как Тихий океан, небо и молчат.

Солнышко пригревает хорошо. От Симиного пальто поднимается легкий пар. Кешка повернулся, стал смотреть на лужу. В воде отражается небо, и лужа от этого голубая. Если прищуриться да еще загородить глаза ладошкой, чтобы не видеть стен дома и сараев, то на самом деле кажется, будто лежишь на берегу спокойного утреннего моря.

– Сима, а ты на море бывал?..

– Нет. Где я раньше жил, только речка была.

Кешка скривил губы.

– А еще корабли строишь. А я, кроме Балтийского, еще на Черном был. Вот там да!.. А ты в луже каких-то кальмаров выдумал.

Сима обиделся, хотел уйти, но тут на заднем дворе появились двое: седой сутулый старик без шапки и кругленькая старушка с розовым лицом. Они вместе несли ковер.

Старушка посмотрела на лужу, сказала расстроенно:

– Вот видишь!.. Безобразники, не могут люк прочистить.

– Будет тебе, Катя! – хрипло забасил старик. – Тебе, конечно, лужа. А может, для кого – океан. – Он кивнул на Симины корабли. – Ты вообще воды, кроме чая с лимоном, не признаешь, а здесь дело тонкое… – Старик пошире расставил ноги, оперся о толстую бугроватую палку. Слегка затуманенные, как талые льдинки, глаза его смотрели на Симин флот, на кирпичные острова, на известковые мели. Потом он поднял палку и показал ею на острые обломки, торчавшие из воды.

– На острова Зеленого Мыса похожи. Голое, дрянное место… А вон подальше, – старик наклонился вперед, – видишь, вроде проливчика, горловинка… Гибралтар будто. А чуть южнее – Танжер. Я тебе этот ковер из Танжера привез. – Старик снова облокотился на свою палку и замер. Лицо его стало задумчивым.

– Ну, хватит, – тронула его за рукав старушка. – Пойдем.

Старик вздохнул.

– Да, да… Ты, Катя, ступай домой, а я ковер вот здесь на ящиках выколочу.

Старушка помогла мужу разложить ковер на куче ящиков и ушла в подворотню. Старик проводил ее немного и вернулся.

Он огляделся по сторонам, как мальчишка, который хочет созорничать, подошел к луже. Он нагнулся, подобрал Симин кораблик, поправил мачту, клетчатый парус и легонько пустил его на воду. Кораблик побежал к кирпичным островам.

Старик разгребал палкой воду, как это делал Сима, и, нагоняя кораблик, по луже покатились волны.

Сима вылез из ящика, взял свое пальто и подошел к старику сзади. Услыхав его сопение, старик вздрогнул, оглянулся.

– Ух ты!.. Думал, жена… – смущенно улыбнулся он и тронул всей пятерней обкуренные усы. – Понимаешь, не любит она моря… хоть ты что… Это твой флот, что ли?

– Мой, – кивнул Сима.

По щекам старика разошлись глубокие складки, плечи он выпрямил. Теперь палка казалась ненужной в его руках.

– Чего это шхуна у тебя дрейфует?.. Вон та… На рифы села?

– Нет, – покачал головой Сима, – это ее гигантский кальмар схватил.

Кешка подумал: "Засмеет сейчас Симу".

Но старик ничего, не засмеялся, лишь озабоченно нахмурил лоб.

– Кальмар, говоришь?.. Вот тресковая смерть. Кашалота бы сюда. Против кашалота ни один кальмар не выстоит… Я, брат, на кашалотов охотился и на финвалов. Ты вот про единорога что-нибудь знаешь?.. Нарвал называется… Бивень у него метра три длиной впереди из носа торчит. Шлюпку он, словно шилом, протыкает…

– Будет тебе, будет!.. – раздался из подворотни тихий голос.

Старик покраснел, спрятал глаза в насупленных мохнатых бровях. Под аркой, прислонившись к стене, стояла его жена.

– Да вот, видишь, Катя, моряка встретил. Поговорить надо.

Старушка поджала губы и критически осмотрела Симу.

– Вымок-то весь, как утенок… Пойдем, что ли, чаем напою с вареньем… с малиновым.

– Греби, греби, – подтолкнул Симу старик. – Она только с виду сердитая. Она моряков уважает.

Сима оглянулся на ящики, хотел, наверно, позвать Кешку, но Кешка запрятался поглубже, чтобы его не заметили. Ему было очень грустно.

Когда двор опустел, он вылез из ящика, подошел к луже.

В луже отражались облака. Они бежали по опрокинутому небу. Кешке казалось, что он медленно плывет по волнам…

Мелькают острова, потрескавшиеся от солнца. Над водой дерутся поморники и альбатросы. В морской пене хищно шныряют единороги.

Что-то щекотное и теплое подступало к Кешкиному горлу, как подступают слезы, когда смотришь хороший кинофильм с хорошим концом.

**Евгений Велтистов. Миллион и один день каникул** *(Фрагмент)*

В наши дни, когда космос заселен людьми и Земля, как голубое маковое зерно, отчетливо видна с далеких планет, когда ежедневно стаи ракет уплывают с Земли в океан Вселенной и возвращаются обратно, трудно представить себе пропажу космического корабля. Да еще такого корабля, как "Виктория"!..

"Виктория", краса звездного флота, фантастическая птица с гордо вздернутым вперед клювом, совершала броски в Ближний, Дальний и Конечный космос. Ее серо-стальные бока и крылья отполировал ветер разноцветных звезд; ее острый шпиль пронзал пустоту с беззаботной легкостью иглы, скользящей сквозь кусок ткани. Двигатели точно выводят "Викторию" к самой отдаленной цели, и гигантский лайнер причаливает с осторожностью шлюпки в порту незнакомой планеты, возле космической станции или у порога одноместного корабля астронавта, затерянного среди звезд.

Сотни историй в судовом журнале о ближних и дальних рейсах "Виктории".

Но этот рассказ - о последнем путешествии, когда корабль, попав случайно в беду, оказался достойным своего знаменитого имени-девиза: "Победа!"

В космосе все на виду, словно в аквариуме. Телескопы, станции, спутники, корабли изучили звездный мир до мельчайшего "винтика". И ни один мастер небесной механики не мог, разумеется, предсказать, что первоклассный пассажирский лайнер исчезнет однажды в бесконечности из-за тайного обитателя трюмов, точнее - из-за обыкновенного грызуна.

Однако в этой истории немало странного.

И что еще важно: "Виктория" уточнила движение Стрелы времени: люди острее почувствовали, куда нацелен наконечник этой Стрелы, увидели разницу между прошлым и будущим Земли.

*Глава первая,* В КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

"Виктория" после взлета набирала скорость.

Перед прыжком в Дальний космос.

В большом полутемном зале, накрытом прозрачным куполом, ночная тьма и пол-мира звезд. Совсем близко золотые яблоки звезд - светящиеся плоды на невидимых нитях. Кажется, протяни руку, оборви нить - и огненный шар упадет в бездонный колодец, сыпля искрами, остывая на лету. Звезды - рядом и… далеко. И огромной видится из купола туманно-голубая Земля.

Три пассажира на прогулочной палубе - пятиклассники лесной школы Алька, Карен и Олег - впервые поднялись над планетой. Впрочем, они уже не школьники, а свободные люди, потому что сегодня первый день каникул.

Родительский День бывает раз в году. Где бы ни работали родители школьников - на горных ледниках, на дне океана, в марсианской пустыне, в звездном патруле, - к ним обязательно плывут, едут, летят их дети. И нет такой точки ни на Земле, ни во всей Вселенной, куда не смогут прибыть в назначенный час сын или дочь. А если отец и мать находятся в самой далекой галактике, в Конечном космосе, куда не прорвешься за день, встреча назначается на полпути к Земле.

В Конечном космосе, на последней космической станции, работали родители Карена и Олега. И мать Альки. Сейчас их корабль "Альфа" тоже делает бросок в Дальний космос - навстречу детям.

Отправляясь в путешествие, Алька сказала:

- Сосчитаю, сколько в мире звезд.

Карен усмехнулся:

- Это наивно: мир бесконечен. Главное - посмотреть новое!

- А я нарисую то, что никто никогда не видел, - подумал вслух Олег.

Но все они, конечно, думали о космосе.

Дальний космос Карен представляет так: очень скоро войдет он с товарищами в зал космической станции, увидит такие знакомые, целый год снившиеся лица, и мама бросится навстречу, обнимет его, а отец положит руку на плечо и с первого взгляда поймет, что сын возмужал за долгий год.

Только к Альке не подойдет отец - он погиб в Конечном космосе.

Карен оглянулся на товарищей.

Олег рисует световым карандашом на стекле тигра. И хотя на небесном своде нет такого созвездия, звезды точно легли в рисунок: тигр пристально смотрит зеленым и желтым глазами. Тигр совсем живой, очень земной, он, конечно, понравится родителям.

А вот Алька не вспоминает ни о чем. Прыгает себе по темным квадратам с бликами звезд. Будто у нее одной во всей Вселенной начались летние каникулы.

Вспыхнул свет. Огромная Земля затуманилась за стеклом. Тигр подслеповато прищурился. На палубу корабля вошел Пап. Словно наместник земного солнца в космической ночи: рыжая копна волос над голубым комбинезоном. Это воспитатель пятиклассников на время их Родительского Дня, а на самом деле штурман корабля Павел Андреевич Прозоров, или просто Пап.

- Аборигены! Земляне! - весело сказал Пап. - Вы видите знакомую картину: Земля, Солнце и прочее… Из этого "прочего" делаем вывод, что Вселенная в основном состоит из звезд. Ясно? - спросил он, оглядывая свою команду.

- Ясно. Урок природоведения, - бесстрастно парировала Алька.

- А теперь проверим на практике, - продолжал вдохновенно Пап.

Ребята будто не слышали его. Пап почувствовал себя обыкновенным учителем. Он, звездный штурман, целый день должен дрессировать этих толстокожих землян. Называется "учебная практика", а на самом деле - детский сад в космосе. Глупая выдумка каких-то профессоров, которые наверняка никогда не покидали планету.

Олег, не обращая на Папа внимания, начертил над тигром старинную избушку с завитком дыма из трубам, и тигр сразу превратился в домашнего котенка, выглядывающего из открытой двери.

Пап, взглянув на рисунок, остро почувствовал, как соскучились ребята по дому, по своим близким. Но где их настоящий дом? На Земле - в лесной школе или в космосе - рядом с родителями?

- Предупреждаю, - строго сказал учитель, - скоро будет бросок в Дальний космос.

Ребята оживились. И Алька спросила:

- А глаза, Пап, надо закрывать?

Пап улыбнулся:

- Это не игра…

И вот тут-то на палубу проскользнул какой-то зверь.

Зверь был черный, он волочил за собой длинный хвост.

Зверь бросился прямо к ребятам. У него не было другого выхода: в сантиметре от кончика его хвоста мягко подпрыгивала серая кошка.

За кошкой энергично шагала ее хозяйка в комбинезоне инопланетных охотников.

Алька так отчаянно пискнула "ах!", что это "ах!" оторвало ее от пола.

Мальчишки застыли в стойке, соображая, как им схватить за хвост нахала.

Один Пап признал в беглеце корабельную крысу. Ударом ботинка он швырнул ее через голову кошки.

- Держите ее! - всплеснула руками хозяйка кошки, натыкаясь на крысу.

Мягко прогудела сирена.

Пап растерялся: он узнал женщину в комбинезоне. Перед ним был словно оживший портрет из учебника - всемирно известный биолог новых планет.

Женщина укоризненно вопрошала:

- Молодой человек, зачем вы кидаетесь в меня этим зверем?

- Извините, Ирина Александровна, - пробормотал Пап.

- Кто это? - шепотом спросила Алька.

Олег дернул ее за косичку:

- Биологию изучала? Наука о живой природе…

Биолог ловко отбила ладонью крысу, дернула плечом:

- Фу!..

В тот же миг вторично прогудела сирена, и все, кто был на палубе, оторвались от пола.

В корабле наступила невесомость.

*Глава вторая,* В КОТОРОЙ КОРАБЛЬ ДЕЛАЕТ БРОСОК

Никто не заметил прощального салюта звезд. Звезды, окружавшие "Викторию", неестественно удлинились, распустили огненные шлейфы, потом постепенно смазались, сверкнули напоследок пучком света, погасли.

Земля, Солнце и весь Ближний космос, знакомые с детства, исчезли.

Корабль как бы оказался в пустоте…

Алька снова сказала "ах" и взлетела вверх, раскинув руки.

Мелькнули каблуки знаменитого биолога. А мальчишки, кувыркнувшись, запели старую, как мир, песню:

Не-ве-со-мость, не-ве-со-мость

Сразу съела всю слоновость…

Невесомость спасла корабельную крысу. От удара ладонью она завертелась волчком и ввинтилась в открытую дверь. А Ирина Александровна взмыла к самому потолку.

Пап, извиваясь натренированным телом, плыл навстречу ребятам, командовал:

- Работайте руками и ногами, снижайтесь! Если невесомость исчезнет, вы набьете шишки. Только шишек не хватает для Родительского Дня…

Но ребята не собирались снижаться. Они парили над пагубой и хохотали, словно от легкой щекотки. Даже пальцем не шевельнули, чтобы снизиться. А Пап плыл к ним очень медленно.

По коридору быстрым шагом спешил длинный и белый, как цапля, корабельный стюард. Механический слуга легко преодолевал невесомость в мягких ботинках на магнитных подошвах. Он спешил на помощь пассажирам и, пробегая мимо крысы, шлепнул ее.

Алька, наблюдая за проворным роботом, насмешничала с высоты своего положения:

Всем известно в этом мире –

Дважды два всегда четыре,

Дружба верная - навек,

Робот, ты не человек!..

Робот ловко взбежал по изогнутой стене к куполу потолка, подал руку Ирине Александровне, усадил ее в кресло. Потом, балансируя в воздухе, стараясь не отделить подошвы от потолка, который сейчас служил ему полом, отбуксировал одного за другим ребят. Помог Папу доплыть до кресла. И наконец выловив спокойную серую кошку, протянул ее биологу.

Все были чуть взволнованы. Кошка обрела свою хозяйку, шерсть ее стояла дыбом, напоминая о непойманной добыче.

- Извините, - сказала Алька стюарду, - я пошутила. Спасибо за помощь.

- Пожалуйста, - ответил невозмутимо робот. - Сейчас мы достигнем цели.

Вместе с гудком сирены вернулась привычная тяжесть. Над головой вспыхнули новые звезды. Корабль совершил бросок в Дальний космос.

- Итак, - строго сказала всемирно известный биолог, - надо немедленно изловить этого грызуна.

- Сейчас он будет предоставлен в ваше распоряжение, - согласился белоснежный стюард.

Биолог обиделась:

- Я имею дело с благородными животными…

Но робот не слышал ее. Он бежал по коридору, где в самом конце мелькнул черный хвост. Кошка выскользнула из рук хозяйки в открытую дверь, она надеялась только на свою ловкость.

- Возможно, я отвыкла от некоторых форм земной жизни, - продолжала Ирина Александровна. - .Крылатые змеи мне кажутся куда более симпатичными…

- Конечно, - горячо поддержал Олег, - крысы с древних времен были врагом человека.

- Сжирают все на свете, - пояснил Карен.

- Очень противные, - вздохнула Алька.

- Я вижу, вы знаете многое о грызунах. - Биолог повернулась к Папу. - Представьте, когда я вошла в каюту, эта разбойница грызла мою рукопись…

- Я читал ваши книги, - смутился Пап.

- Но последняя могла быть съедена. - Биолог встала. - Посмотрим, понравится ли ей моя Мись. - И Ирина Александровна ушла, окликая убежавшую серую Мись.

Пап с удивлением отметил, что он плохой воспитатель: ребята незаметно исчезли.

*Глава третья,* В КОТОРОЙ ИССЛЕДУЕТСЯ ШАР ПУТИ

Вот он!

Карен широко открытыми глазами смотрел на свою ладонь. Загорелое лицо его чуть побледнело. На ладони лежал прозрачный Шар с серебристой паутиной внутри.

- Шар Пути, - прошептал Олег, заглядывая в лицо друга.

Шар, поворачиваясь в руке Карена, сплетал и расплетал нити. Рисунок мгновенно менялся. Тысячи путей вели корабли к звездам, и где-то среди этих линий тянулась тонкая нить "Виктории".

Все, что было завоевано за столетия космонавтикой, заключалось в простом и прекрасном Шаре. Он был драгоценнее любого земного алмаза, любой ювелирной находки с других планет, потому что таил в себе знания человечества о галактиках, звездах и планетах, гигантских туманностях и абсолютной пустоте, законах космического времени и пространства, так не похожих на земные.

Когда-то очень давно люди построили первые ракеты, запустили над Землей спутники и станции, высадили разведчиков на планетах Солнечной системы. С середины двадцатого века, после полета Юрия Гагарина, слово "космонавт" означало одну из самых почетных и трудных профессий.

Но звезды еще долго оставались такими же недосягаемыми для людей, как и тысячелетия назад. Пока не была открыта новая энергия для почти мгновенного преодоления пространства, пока корабли не стали делать скачки к звездам в известной человечеству Вселенной.

Серебристые нити в Шаре Пути были точными маршрутами кораблей. И если мозгом любого корабля являлась сложнейшая электронная система, отвечавшая за безопасность путешествия, за удобства, приятное самочувствие и спокойствие пассажиров, то Шар был сердцем корабля. Капитан и штурман полностью доверяли Шару.

В каждом корабле имеется два Шара Пути. Один управляет машиной. Второй хранится у капитана. Вот этот второй Шар Пути "Виктории" и лежал на ладони Карена. Он взял его всего на несколько минут в пустой капитанской каюте.

Шар светился за толстым стеклом, на специальной подставке. Карен знал ценность Шара, знал, что его нельзя трогать, но какая-то властная сила влекла мальчика к Шару. Карен протянул руку. Сердце его стучало. Он только посмотрит и вернет…

- Где наш маршрут? - нарочито спокойно сказал Карен. Уши его горели. Шар жег ладонь. - Надо быстро разгадать…

- Мы знаем ничтожно мало по сравнению с тем, чего не знаем, - вспомнил Олег древнее изречение. - Как ты решился?

- Всего на пять минут. Может, я хочу запустить "Викторию" в неизвестную галактику. На самую границу Вселенной. Или дальше.

- Было бы здорово! - поддержал Олег. - И все же как ты мог…

- Тише! - обрывает Карен и оглядывается на Альку.

Девочка сидит неподалеку у ручья, что-то рисует на песке.

- Все слышу. Мне безразлично. Куда вы, туда и я, - откликается Алька Фролова. - Карен, найди мне в Шаре Фроловскую галактику.

Карен морщит нос: какие глупости… На всякий случай спрашивает, не отрывая глаз от Шара:

- Есть такая?

- Отец говорил. Когда я была маленькая, он ее открыл. А название дали потом.

- Ладно… Черти свои знаки. Может, и ты откроешь что-нибудь…

- А ты как думаешь, - дерзит Алька, - без ваших хитростей все открою…

- Молчи!

Карен тихо свистит, ребята ныряют под зеленый навес низкого дерева. Здесь как в беседке. Пап идет по дорожке с равнодушным видом, а это значит, что он кого-то ищет. Пап проходит в двух шагах от дерева; ему и в голову не пришло, что его питомцы под ветками. Воспитатель не скоро вернется - корабль огромен.

Сад "Виктории" - как маленький густой лес. Переплетение ветвей, крохотная поляна, спокойный ручей, синее небо, пятна солнечного света на траве - все как дома, в лесной школе, даже еловые шишки, и шум листвы от внезапного ветра, и свист невидимых птиц.

Тот, кто хоть раз летал на "Виктории", вспоминает прежде всего не темный колодец космической ночи, а усыпанные хвоей дорожки, похожий на лесного спрута пень и думает: "В следующий раз обязательно посижу на этом пне". Но странно: притягательная сила звезд влечет пассажиров из сада в каюты, залы, на палубу - туда, где привычно ожидание строгого гудка сирены, где человек внутренне готовится ступить в новый мир. Прекрасный лес "Виктории" обычно безлюден.

- Нить Млечного Пути… Туманность Андромеды… Крабовидная…

- Вспышка… Это взрыв сверхзвезд…

- Ясно и маленькому! Карен, Шар пора возвращать!

- Не паникуй! Их два на корабле. Этот пока не нужен.

- А это что за красная линия?.. Неужели наш путь?

- Спокойно. Вопрос - еще не открытие. Надо сравнить.

Карен достает из кармана карту галактик. Расстилает на траве. Три головы склоняются над картой. Шар - мир известных человечеству звезд - переходит из рук в руки. В лесу по-прежнему земная тишина.

**Константин Бальмонт. Русский язык**

Язык, великолепный наш язык.  
Речное и степное в нем раздолье,  
В нем клекоты орла и волчий рык,  
Напев, и звон, и ладан богомолья.

В нем воркованье голубя весной,  
Взлет жаворонка к солнцу — выше, выше.  
Березовая роща. Свет сквозной.  
Небесный дождь, просыпанный по крыше.

Журчание подземного ключа.  
Весенний луч, играющий по дверце.  
В нем Та, что приняла не взмах меча,  
А семь мечей в провидящее сердце.

И снова ровный гул широких вод.  
Кукушка. У колодца молодицы.  
Зеленый луг. Веселый хоровод.  
Канун на небе. В черном — бег зарницы.

Костер бродяг за лесом, на горе,  
Про Соловья-разбойника былины.  
«Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре.  
В саду осеннем красный грозд рябины.

Соха и серп с звенящею косой.  
Сто зим в зиме. Проворные салазки.  
Бежит савраска смирною рысцой.  
Летит рысак конем крылатой сказки.

Пастуший рог. Жалейка до зари.  
Родимый дом. Тоска острее стали.  
Здесь хорошо. А там — смотри, смотри.  
Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали.

Чу, рог другой. В нем бешеный разгул.  
Ярит борзых и гончих доезжачий.  
Баю-баю. Мой милый. Ты уснул?  
Молюсь. Молись. Не вечно неудачи.

Я снаряжу тебя в далекий путь.  
Из тесноты идут вразброд дороги.  
Как хорошо в чужих краях вздохнуть  
О нем — там, в синем — о родном пороге.

Подснежник наш всегда прорвет свой снег.  
В размах грозы сцепляются зарницы.  
К Царь-граду не ходил ли наш Олег?  
Не звал ли в полночь нас полет Жар-птицы?

И ты пойдешь дорогой Ермака,  
Пред недругом вскричишь: «Теснее, други!»  
Тебя потопит льдяная река,  
Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге.

Поняв, что речь речного серебра  
Не удержать в окованном вертепе,  
Пойдешь ты в путь дорогою Петра,  
Чтоб брызг морских добросить в лес и в степи.

Гремучим сновиденьем наяву  
Ты мысль и мощь сольешь в едином хоре,  
Венчая полноводную Неву  
С Янтарным морем в вечном договоре.

Ты клад найдешь, которого искал,  
Зальешь и запоешь умы и страны.  
Не твой ли он, колдующий Байкал,  
Где в озере под дном не спят вулканы?

Добросил ты свой гулкий табор-стан,  
Свой говор златозвонкий, среброкрылый,  
До той черты, где Тихий океан  
Заворожил подсолнечные силы.

Ты вскликнул: «Пушкин!» Вот он, светлый бог,  
Как радуга над нашим водоемом.  
Ты в черный час вместишься в малый вздох.  
Но Завтра — встанет! С молнией и громом!

**Юнна Мориц «Язык обид – язык не русский…»**

Язык обид – язык не русский,  
А русский – не язык обид.  
И никакой перезагрузкой  
Не будет русский с толку сбит.  
  
Загрузкой пере или недо  
Такой язык свихнуть нельзя.  
Он не сдаёт страну и недра,  
Ни перед кем не лебезя.  
  
Он не сдаёт и не сдаётся –  
Звезда такая у него  
Во мгле небесного колодца,  
Где русской речи Рождество.  
  
И этот праздник русской речи  
Высокой глубью сотворён –  
Как путь, где трепетные свечи  
Ведут над пропастью времён.  
  
Не мы – обиды инвалиды.  
Мы на вселенском сквозняке  
От Арктики до Антарктиды  
На русском дышим языке.